



**Абди-Жамил НУРПЕИС**

## **И БЫЛ ДЕНЬ... И БЫЛА НОЧЬ...**

*Роман в двух книгах  
Продолжение. Начало в № 10, 2024.*

**Книга первая**

**И БЫЛ ДЕНЬ...**

\* \* \*

Высокий темноликий человек всё еще не отрывал глаз от своих следов; и чем пристальней вглядывался он в эти следы, тем больше не признавал в них себя – прежнего; да, прежде ты был не таким, и следы были у тебя другими; ходил ты прежде чуть приволакивая ногу, оставляя за собой неуверенные, тягучие следы; а сегодня с тобой явно что-то стряслось; особенно... смотри, вон в том месте, где шагал размашисто, бешено, будто гнал тебя сжигавший с утра душу некий безудержный неистовый гнев; выглядел ты, должно быть, в тот миг не лучшим образом; небось, встопорщились густые заиндевелые брови; побелели от злости большие глаза; и был ты, дружок, страшен; сжимал отяжелевшие, словно литые из чугуна, кулаки, будто только что из пламени вырвался.

Хорошо еще, что в эти минуты тебя не видела Бакизат... а увидела бы – наверняка ожгла бы темным взглядом и сказала: «ох, уж этот твой собачий характер!..» Слава Всевышнему, надоумившему вовремя уйти из аула, не то – кто знает, что бы ты еще мог натворить в порыве бешенства; и вот, надо же было тому случиться, что последней каплей в чаше терпения стал Сары Шая; способный хоть кого вывести из себя, ворвался родственничек сегодня утром к тебе в кабинет: «Ойбай, – завопил он, – видать, ты не дорожишь мужской честью, но есть же еще честь рода! Ради чести рода твои предки разве не шли на смерть?! Если ты не пойдешь на это, я сам пойду; или умру, или убью! Но кровь пролью! – выпалил Сары Шая, весь дрожа от гнева. Ты, сомкнув челюсти, еле сдерживал себя. – Ты не дорожишь своей мужской честью. Тьфу, тюфяк!»

Вижу, и тут ты сорвался; не сумел укротить себя...

Бакизат права: собачий характер!.. Разве не так? Не твой ли несносный характер всему виной? Не из-за него ли все твои беды? Не из-за него ли ты, не находя себе места ни дома, ни в степи, теперь томишься неприкаянно на заснеженной пустынной льдине?

Привычным взглядом ты заметил – резкие холода последних дней прочно сковали побережье; и ледяная гладь припая протянулась едва ли не до самого горизонта; ошалело выбежав утром из аула, ты побрел по упругому молодому льду и, почти дойдя до его опасной, прогибающейся кромки, за которой дымилось открытое море, остановился. Короткий зимний денек быстро идет на убыль. Но одинокий человек всё на том же месте, где остановился утром. И мысли его, не сдвинувшись, топчутся там же. Уже ледяной холод незаметно пробрался сквозь подошвы сапог. Холод одиночества достиг до самого сердца, но он всё продолжал стоять. Возвращаться обратно?.. Нет, он вовсе не наме-

рен. Но идти вперед он также не мог, впереди, в каких-нибудь пяти-шести шагах, исходя белесым паром, дымится тяжелая зимняя вода.

Нет покоя сегодня морю. Оно глухо ревет, ворочается; и оттуда, из безбрежной дали, доносится нескончаемый утробный гул; летит сизая изморось; остальной мир объят какой-то настораживающей тишиной; сегодня на рассвете хлопьями повалил снег и выбелил, высветлил порошей всё вокруг; только неприглядно чернела за Бел-Араном степь; вокруг – не за что зацепиться взглядом: лишь волочащиеся за тобой вялые следы, наконец обессилев, покорно легли тебе прямо под ноги.

Чему ты усмехаешься? Следам своим? Или себе самому? Как бы то ни было, еще одна горячая обида, кинувшаяся жаром в лицо, вмиг обожгла сердце; и на душе кошки заскребли... эти вялые следы, которые постоянно раздражали Бакизат, с чего, спрашивается, они сегодня и тебя, и твое самолюбие задевают? И ты стоишь и не знаешь, на ком выместить свою ярость; да, дружище, как бы то ни было, с тобой что-то случилось; и твоих земляков как подменили... Вспомни, в былые времена, когда после затяжного ненастья вдруг обрушивалась крепким морозцем зима и залив под кручей за одну ночь затягивало тонким льдом; ну, вспомни, вспомни-ка, в такой день разве сидели бы, как сейчас, сложа руки мужчины прибрежных аулов? О, кого из потомственных рыбаков не охватывала радость при появлении первого берегового припая! Кого не тянуло первым выйти на молодой упругий ледок, чтобы весело, рискуя жизнью, испытать его прочность? Ставить первую сеть под молодым льдом – дело для рыбаков всегда радостное и священное, как для дехкана по весне с молитвенными словами на устах бросить первую горсть семян в свежевспаханную землю!..

Что и говорить, в такой день раньше всех встал всё же ты. Первым делом отправлялся на конюшню; широко распахивал прихваченные морозцем ворота; густой, устоявшийся запах зеленого курака с порога обдавал тебя; гнедой, со звездочкой во лбу, чутко дремал в стойле в дальнем углу конюшни; почуяв хозяина, он негромко всхрапывал; ты привычным движением накидывал узду, набрасывал на спину пропахшее потом седло; сильным рывком стягивал подпругу; с коня еще не сошла сонная истома; оттого он покладист и послушен; и когда рослый мужчина, едва коснувшись стремени, всей своей тяжестью вдруг опускался в седло, конь на мгновение оседал, переступая ногами, но тотчас укреплялся телом; обретал устойчивость; и в сумеречных еще глазах его под набрякшим надглазьем вспыхивал лиловый затаенный огонь; нервно косясь по сторонам, конь норовил повернуть к знакомому лугу за аулом; однако ты властным движением руки направлял его к побережью; раздосадованный конь мотал головой и с нервной злостью мелко перебирал копытами по гулкой мерзлой земле; и тогда ты, осердясь на него, крепче натягивал поводья и стискивал шенкеля так, что у коня, казалось, вот-вот затрещат ребра; ощутив властную силу ездока, конь поворачивал куда надо и уже через минуту послушно нес тебя легкой широкой рысью.

А между тем занималось утро; мороз поскрипывал, пощипывал; от ладной быстрой рыси забрасывало в лицо холодным сиверком; и душа будто обретала крылья; снизу, из-под копыт, летели снежные ошметья, тотчас рассыпавшиеся в белую пыль; а по всей степной шире, причудливо горбятся, волна за волной уходили вдаль сугробы; конь под тобой шел легко; с глухим топотом и мерзлым визгом снега вспахивал намети. А в глубоких местах прокладывал себе путь чуть ли не грудью, не сбиваясь при этом с размашистой рыси и всё более распаяясь; и неудержимо рвался вперед, одолевая перевал за перевалом, пока не достигал косогора, за которым во всей своей шире вдруг открывалось, играя и слепя солнечными бликами, безбрежное море.

О, какие это были дни! Едва вымахнув на крутояр, ты, словно над всем своим Приаральем, осаживал коня; и, встав на стремяна, вытягивался, вглядывался с орлиной высоты в эту полную блеска и света даль; и каждый раз от неудержимого восторга подкатывало и замирало сердце; разве можно, глядя в беспредельную даль моря, удержаться рыбаку от счастливой улыбки? И нет под тобой ни коня, ни тверди – ты со своим рвущимся из груди сердцем весь там, в этом вечно манящем, вечно удаленном просторе!

Обманчивый, призрачный бренный мир! Нет, не всё он забрал – и на твою долю выпадали прежде такие вот счастливые дни; ты давно понял, что предкам твоим, бесхитростным скотоводам, было ведомо немало мудрых истин; ведь это они сокрушались: НАПРАСНО ИСКАТЬ СЛЕД МИНУВШИХ ДНЕЙ. В самом деле, где они теперь, эти тени прошлого, способные хотя бы на миг утешить твою душу, когда, как сейчас, в минуту смятения, оказываешься ты вдруг в тупике? И если счастье упорно отворачивается от тебя, словно гулящая жена от опостылевшей супружеской постели, то считай, что дни, месяцы, годы твоей жизни и впрямь предстают в обличье лисы-плутовки, запутывающей тебя же самого своими прихотливыми следами; вот и стоишь ты, пригорюнясь, не находя отрады и утешения ни в одном из бесчисленных следов, оставленных тобою по всему твоему Приаралью.

О Боже! Боже праведный, неужели человек, угнетенный несчастьем своим, устает не только телом, не только душой, но даже и памятью?.. Но нет! Не-ет, ты-то еще помнишь, как всё бывало; помнишь, как стремительной рысью взлетал на крутояр и натягивал поводья у самой кручи; дальше, осторожно спустившись с конем по круче, ты стреноживал его в прибрежных, разметанных вчерашним ветром зарослях и выходил на лед; шел, шел... то быстро, то медленно, осторожно, часто останавливаясь, если лед казался тебе сомнительным, – и следы твои выдавали только решительность твою, только осторожность, но рабом страха перед судьбою ты не бывал; порою пробовал лед на прочность, с оттяжкой бил кованым каблуком; так ты всё дальше и дальше уходил от берега, определяя, наконец, ту надежную границу, до которой можно было выходить с сетями без опаски; осмотрев еще раз лед и укрепив вдоль кромки ледяного припая камышовые вешки, забавно походившие издали на закутанных детишек; и ты, довольный тем, что сделал важное, из года в год повторяющееся в эту пору дело, возвращался назад; так бывало всегда; так было в прошлом. А сегодня?

Темнолицый сутулый человек поднял голову: задумчиво оглянулся вокруг, как бы силясь понять, чем же все-таки отличается сегодняшний день от множества других – прошедших дней его жизни; и почему вдруг сегодня стоит он один-одинешенек на безлюдном ледяном поле; ледяном поле судьбы... Потом опять посмотрел на цепочку следов, обреченно обрывающихся у самых его ног; и, глянув на этот раз, он вздрогнул; о чем рассказывают эти говорящие следы? Неужели о коне, который, не проскакав половины пути, обессилел вдруг, выдохся под всадником и рухнул прямо к его ногам, дотянувшись из последних сил до тяжелых рыбацких сапог? Выходит, что здесь, в этом месте, завершится и оборвется твоя незадачливая жизнь?

Темнолицый сутулый человек чуть не завопил отчаянно: «Нет! Нет!» – и, стоя, с дрожащими губами, с трудом сдерживал себя. Впрочем, винить некого; если кто-то и виноват в том, что над тобой нависла черная туча злосчастья, то только ты, ты один, а не кто-либо другой; Бакизат? Нет, она не виновата; наоборот, она, словно предчувствуя беду, перед тем как поехать в Алма-Ату, просила, мало того – упрашивала тебя съездить вместе. Предлагала же она: «Давай хоть нынешний отпуск, как муж и жена, проведем вместе. Отдохнем. Встретимся с сокурсниками».

Она знала: если поедет в столицу одна, то непременно встретится с Азимом, сыном Сулеймена. Знал и ты. Зачастую выходил из себя, беспричинно ревнуя её ко всем подряд, а тут бог весть что на тебя нашло: «Съезди сама, – говорил ты. – Отдохни, – говорил. – Понимаешь, дорогая, – если я уеду, лов рыбы сорвется, – говорил. – Ты же знаешь, – говорил, – как начальство пилит меня».

О, несчастный! Несчастный. Не сам ли, если вдуматься, толкнул её в объятия сына старика Сулеймена? И тем не менее её же, бедную, обвинил... не только обвинил, еще и избил в кровь; чуть не убил; прожившая тринадцать лет под одной крышей с тобой избалованная женщина, которой никогда ни в чем никто не перечил, вряд ли простила бы твою позорную выходку, если бы не дети; да, дети... ради них... только из-за них скрепя сердце, смилив гордость, она поневоле согласилась остаться с тобой; но простить вряд ли простила; какой человек в здравом уме после всего этого смел бы перечить Бакизат, наоборот, скорее был бы покорным, покладистым; соглашался бы во всем, выполняя любые её капризы; ну, а ты... Апырай!.. Апырай! Не смыв еще прежней вины, прежнего позора... надо же, а?.. Можно понять её; она, как всякая женщина, хотела, чтобы в доме был хозяин, чтобы не мотался он вечно где-то вдали; чтобы дети росли, согретые отеческой лаской. И потому всегда противилась, когда ты уходил к рыбакам; а ты ведь пропадал неделями, а то и месяцами, то на том берегу моря, то на этом; особенно в этот раз, когда ты собрался поехать к рыбакам, которые с весны почти до самой зимы находились вдали от аула, где-то в устье Сырдарьи; она опять воспротивилась и упрямо заявила: «Не поедешь! Не пущу!» И на этот раз подвел тебя твой злосчастный собачий характер; послушался бы её... тогда, как знать, сложилось бы всё, как теперь, или нет? Но ты заупрямился, заладил: «Нельзя мне не ехать». Женщина, которая за все эти тринадцать лет привыкла, чтобы исполнялась только её воля, была задета за живое и ничего не желала слушать: «Несчастный, – говорила она, – поглядел бы на себя! Одно только на уме – рыба. И жену забыл, и детей забыл. Хватит носиться по морю». Сказала: «Не пущу никуда. Не пущу! Не поедешь!» Ты, жалко улыбаясь, хотел было сказать, что нужно ехать обязательно, но тут, как назло, старенькая колхозная машина, подъехавшая к дому, засигналила, напоминая, что пора ехать. Шофер, и на этот раз перед дорогой пропустив сто граммов, тут же просигналил повторно.

– Сейчас! – с досадой крикнул ты. Тебя взбесил этот шоферюга с вечно тлеющей в уголке губ папироской, потным прыщавым лицом и в надвинутой на глаза замасленной мятой кепке. И машина у него такая же расхристанная, как сам этот стервец, ревет, словно недорезанный верблюд.

– Батиш, родная... П-пойми, войди в мое положение...

– Не поедешь! Не пущу!

– Батиш... Ты... Ты же у меня умница... Пойми...

– Не понимаю. И понимать не хочу. Ради вонючей рыбы, ради своих рыбаков ты готов покинуть и жену и детей.

– Да что ты, милая... Что стряслось с тобой? Послушай меня...

– И слушать не хочу. Не нужно мне твоих объяснений.

– Знаешь...

– И знать не хочу!

– Но, Батиш... Если не поеду в этот раз, то как я потом гляну им в глаза?

– Это не мое дело.

– Но подумай... Подумай сама... Они же, бедняги, там всё лето пропадают. Легко ли им? У них тоже жены и дети. Представь только: жара, комары, слепни, улов ни к черту. Посуди сама, кто проведает их, если не я? Кому они нужны еще?

Бакизат молчала. Казалось, твои отчаянные слова достигли её души. Ты обрадовался. Довольный тем, что убедил её, ты, улыбаясь, приблизился к жене, которая стояла отвернувшись, сердито надув губы, и попытался её обнять. Но она резко оттолкнула твои руки:

– Не поедешь!

– Батиш, родная... Вот увидишь, я мигом... только туда и обратно. Поверь... Поверь мне. Клянусь тебе, проведу, переночую там и завтра буду дома.

Бакизат, не сказав ни слова, быстро и решительно направилась к выходу. Ты бросился было следом, но не успел, дверь со стуком захлопнулась перед самым твоим носом, и ты, вздрогнув, застыл на месте с протянутой вслед жене рукою.

\* \* \*

Шофер, едва покосившись на него, сразу смекнул, что баскарма<sup>1</sup> не на шутку чем-то подавлен, и потому не обмолвился ни словом. Записной балагур и ерник, он держал себя с покладистым председателем на короткой ноге. Бывало, запанибрата, будто с приятелем, с которым только что принял, как он выражается, «по стопарю». Но сейчас председателю было явно не по себе, и шофер, положив на руль заглохшей отчего-то машины тяжелые руки с никелевым колечком на мизинце, терпеливо ждал приказа.

– Поехали!

– Ма-мент! Это мы сейчас...

Шофер поплевал на ладони. Перед тем как нажать на стартер, наклонился к разболтанному щитку и пощупал-потрогал что-то под ногами. Лишь потом нажал на стартер. Машина, как обычно, сразу не завелась: мотор почихал, покашлял и, прогромыхав, тотчас сорвался на предсмертный скрежет. «Ах, мать твою в шестеренку!..» – выругался шофер и в сердцах даванул раза два на газ, после чего машина зашлась дрожью, заколотилась как в лихорадке и, проскрежетав еще чем-то, натужно, нехотя сдвинулась с места. Каждый раз одно и то же. Это был какой-то своеобразный ритуал, проходивший в более или менее строгой последовательности, и к нему в ауле давно привыкли. Все знали, что машина не тронется с места, пока шофер как следует не рассвирепеет, не разразится ковыристой руганью, не откинёт помятый капот и, поковырявшись там стебельком или спичкой, не поплюет на что-то, ядовито шипящее. Рано или поздно всё равно она заведется, всё равно побежит, переваливаясь по рытвинам и ухабам родных мест; а потому пусть покапризничает, пусть хрипит и трясется; в сущности, она ведь безотказная; да и куда ей деваться, единственной в рыбацьем колхозе тархателке? Послушная крутому нраву своего бессменного водителя, она никого не оставит на полпути, худо ли, бедно ли, а всех довезет-домчит куда надо.

Ну, а если со стороны глянуть, – так это была не машина, а гроб с музыкой; посторонний человек ни за что бы не сказал, что эта измученная всевозможными передрыгами и временем коробка может быть к чему-либо пригодной; все железки её давно изъедены ржой; все деревяшки пересохли и потрескались; гайки ослабли; шурупы выскочили; и если всё это еще как-то держалось вместе, то лишь на честном слове и Божьей милости. Запуская её каждый раз непременно спереди, непременно рукояткой, шофер обычно предпочитал не выключать мотор, особенно на коротких остановках, оставлял тархатеть на малых оборотах; зато в дороге машина временами выказывала необыкновенную прыть: мчалась вовсю, споря с ветром, и останавливалась лишь тогда, когда или кончалось горючее, или закипала вода в радиаторе; или вдруг на ходу от-

---

<sup>1</sup> Баскарма – председатель.

валивалась какая-нибудь её многострадальная часть. «Может, и на этот раз не подведет», – надеялся про себя председатель; если выдержит забитый накипью радиатор, не заглухнет мотор, склонный к перебоям, не взорвутся давно облысевшие шины, то до захода солнца развалюха как-нибудь одолеет эти пятьсот пустынных километров.

Груза на машине, можно сказать, не было; лишь немного снеди от жен рыбаков да кое-какая теплая одежонка; грузовик, по обыкновению натужно ревя, довольно легко одолел перевал приземистой горы Бел-Аран, расположенной прямо за рыбачьим аулом; после того как перевалили за древнюю гору, сплошь покрытую мшистыми черными камнями, открылось начало долгого пути; с одной стороны – синее море; с другой стелилась рыжеватая, как мутное море, бескрайняя степь с выгоревшими от зноя чахлыми травами; выбравшись на извечно змеившуюся между морем и степью накатанную дорогу, расхристанная колхозная развалюха покатила, грохоча и дребезжа, вздымая за собой шлейф рыжей степной пыли.

– Слушай, – сказал ты, повернувшись к шоферу, – переночуем сегодня у рыбаков, а завтра чуть свет выедем назад.

Шофер усмехнулся и, прикрывая лицо, еще ниже надвинул на глаза сломанный козырек замасленной кепки.

– Чего смеешься? Сказано – сделано. Переночуем – и завтра спозаранку в обратный путь. Смотри, чтоб не подвела машина.

– Машина – зверь, басеке. А вот насчет завтра... басмотрым...

– Не болтай. Сказано – значит, вернемся. А ты давай, жми!

– Мамент, басеке...

Странный парень, собираясь в дорогу, выпивает больше всех; пьет он обычно гранеными стаканами, залпом; если подают водку в рюмке, он берет рюмку в руки и, показывая людям, сидящим за дастарханом, говорит: «Лучше бы в наперсточек налили. Из этой рюмки не пить, а лишь в глаз капать»; вызвав смех у всех, наливает себе полный стакан и опрокидывает её, родимую, в себя, даже не поморщившись. «Пай! Пай! Будто саксаульные уголья проглотил!» – говорит он, а затем, даже не утерев выступившего на лбу пота, садится за баранку; любит ехать весь размякший, подставив грудь встречному ветру; тогда в его машину, кроме председателя, мало кто отваживается садиться без крайней необходимости; в здешних краях никто не видел, чтобы у его развалюхи светились одновременно обе фары; и в самую непроглядную ночь одноглазым дьяволом метался его драндулет по бездорожью, по безлюдной степи, где рыщет разве что одно зверье.

Выходки шофера порой злили тебя; ты даже однажды хотел его прогнать; обычно он за баранкой, надвинув на глаза мятую кепку, молчит, словно потеряв дар речи; стоит ему выпить, болтает без умолку; судачит о хозяйке дома, где оставались на ночлег; говорит о том, что ел, что пил, или надоедает спутнику рассказами о том, где и у кого на похоронах побывал в муллах; как читал поминальные молитвы и как соблюдались ритуалы; а если у спутника нет желания слушать, о, тогда, считай, ты накликал на себя беду; тогда он убирает одну руку с баранки, потом, поминутно тыча спутника в бок, заводит следующий рассказ; в таких случаях сделать ему замечание: «гляди на дорогу», – значит взбесить, вывести его из себя; ему нет дела ни до рытвин, ни до ухабов, ни до извилистых поворотов степной дороги; он, не обращая внимания, что машину швыряет вправо-влево, держа руль одной рукой, высовывает голову из кабины и начинает говорить с теми, кто сидит там, наверху, в кузове.

Ты и прежде не разговаривал с ним в дороге; на этот раз и вовсе перестал замечать его; отвернул лицо и подолгу смотрел через боковое окошко на раскинув-

шея за стеклом побережье; с тех самых пор, как выехал из аула, на сердце продолжали скрести кошки; как ни пытался не думать о жене и гнать прочь терзавшие мысли, не смог; всю дорогу стояла она перед глазами, бледная, раздраженная; вся какая-то непримиримая, не поддаваясь никаким твоим уговорам; ты корил себя; корил за тот необдуманный поступок, который обострил и без того напряженные отношения с ней; особенно после той злополучной ночи, когда, вдребезги пьяный, избил её; лишь одна мысль об этом кидала тебя в дрожь; тебе делалось дурно; и был миг, ты даже заколебался, чуть не велел шоферу поворотить обратно; ты знал, что перед ней виноват; кругом виноват; всё из-за водки; но нет же, уж признайся, признайся хоть самому себе, что тебя, дурака, доконала ревность; разве не так? Даже далеко до того, до той ужасной минуты, когда еще не пил, не был пьян, а ну-ка, вспомни, как ты ждал её и не дождался, и, изводя себя, обуреваемый жгучей ревностью, подспудно замышлял что-то недоброе против нее.

И вот где-то за полночь, ступая на цыпочках, вошла наконец-то жена. Нет, это было потом... Через день... нет, кажется, через два дня после приезда Бакизат из отпуска. Ты вернулся с Амударьи. Улов оказался богатым. Такого улова не бывало с тех пор, как начало мелеть море. Ты был вне себя от радости. Тебя так и подмывало поделиться и похвалиться Бакизат своей небывалой удачей, но она... она была равнодушна. Мало того, не дослушав твой взалхлеб начатый рассказ, усмехнулась почему-то и, перебив тебя на полуслове, сказала: «Хорошо, хорошо, поздравляю тебя». И пошла в другую комнату. Ты недоуменно смотрел ей вслед. Только теперь обратил внимание на импортный халат на ней, свободного покроя, приобретенный, видимо, в этой её поездке. Он очень шел Бакизат. Ни одна из пуговиц не была застегнута. Едва сделала она шаг, как спереди, из-под откинувшегося подола халата, сверкнула нетронутая загаром белая плоть молодой женщины, приворожив твой взгляд. Ты загорелся страстью к своей жене, что редко с тобой случалось в последнее время, и, обуреваемый желанием, целый день не находил покоя, теряя терпение, пока не наступила ночь.

Но, как назло, Бакизат, непонятно почему, не ложилась, до полуночи возилась где-то в других комнатах. Ты злился, ворочался в постели и, как обычно бывает в таких случаях, сам не заметил, как уснул. И на другой день она, как и вчера, снова возилась, пока не перевалило за полночь. Ты уже начал беситься, выходить из себя и лежал стиснув зубы, не засыпая назло ей. Потом, для чего не знаешь сам, вытащив из-под кровати бутылку водки, прямо из горлышка опрокинул в себя разом всю её. И в это время тихо скрипнула дверь и, ступая на цыпочках, белея ночной рубашкой, в залитую лунным светом комнату вошла она... Ты это помнишь. Но потом... Пропади оно всё пропадом, о том, что было потом, стыдно и вспоминать. Свалился без сознания там, где сидел. После чего ты уже не помнишь, что творил. Если на то пошло, не ведал даже, есть ты на этом свете или нет тебя. Потом, лишь перед рассветом, на короткое время вернулся на свет Божий. Это ты помнишь. Помнишь и то, что, едва придя в сознание, почему-то возгорелся лютой злобой на тот красивый импортный халат, который жена привезла из столицы. Хорошо помнишь, как, поднявшись на ноги, пьяно пошатываясь, свирепея, глядя на жену мутными глазами из-под тяжелых бровей, ухватился обеими руками за ворот халата и с остервенением разодрал его. Этот миг ты помнишь. Но что было потом? А всё самое ужасное, оказывается, и произошло потом. И ты узнал об этом позже.

– Эй, кровопийца... гляди! Ну, гляди, что ты натворил!

Ты с трудом разлепил глаза. Еле встал на ноги, увидел разъяренную старуху. Всё еще ничего не понимал, не знал, не ведал, что натворил ночью. И, придя в себя, не мог понять и того, чем и почему взъярил тебя импортный халат жены. Хоть и не

знал причину своей слепой ярости на этот злополучный халат, но, смутно чувствуя вину, ты, пошатываясь, подался было вперед, чтобы броситься в ноги Бакизат. Она, в разодранном халате, жалко и убито съезжилась за спиной старой хрычовки.

– Ойбай, беги! Спасайся, убьет! – взвизгнула старая хрычовка.

Ты остановился. Круто развернулся и, не проронив ни слова, вышел, пошатываясь. Старая хрычовка, не отставая ни на шаг от тебя, забегая то с одной стороны, то с другой, словно злобная собачонка, захлебывающаяся яростным лаем, осыпала тебя бранью. Ты стиснул зубы. И в тот же день уехал к своим рыбакам, на тот берег моря. Вернулся лишь спустя десять дней. Дома не было никого, кроме Бакизат. Когда вошел, она сидела за столиком у окна, готовилась к школьным занятиям. Заметила тебя лишь тогда, когда ты остановился с другой стороны стола. А заметив, подняла голову и глянула на тебя пустыми глазами.

– Ба-тиш... – робко сказал ты.

– Что, опять избить хочешь?

– Прости...

Бакизат усмехнулась. Ты не знал, что сказать. Переминался с ноги на ногу. Потом робко положил мозолистую горячую ладонь на её руку, в которой она держала карандаш, и мягко стиснул её, но Бакизат отдернула руку.

– Батиш, милая... если можешь, прости... Не знаю, что на меня нашло. Не знаю.

Почему я твой халат...

– Халат, говоришь?

– Да, халат...

– А это что?

Бакизат, прожигая тебя гневным взглядом, резко рванула, с треском отрывая пуговицы, ворот платья. Ты с ужасом увидел, что там, под ним, по всей обнажившейся груди словно прошлись, не оставив живого места, полосую кожу, грубые медвежьи когти.

Ты застыл, потеряв дар речи.

Бакизат усмехнулась и перевела взгляд на твою огромную темную руку:

– Тяжесть этих рук мы на себе испытали.

– Нет! Не-е... не может быть, – взмолился ты, – каким бы... я ни был зверем, но тебя... нет, нет, не может быть...

– Кто же тогда?

– Не знаю. Не знаю! Будь я проклят! Если веришь, кроме халата...

И вправду, сколько ты ни пытался в эти дни, находясь в рыбацком стане на том берегу, воскресить в памяти ужасную ночь, ничего не мог вспомнить. По словам Бакизат, ты, оказывается, буйствуя, швырнул её на постель и, набрасываясь, рычал: «А теперь попробуй рыбака!» О, позор! О, ужас! Ужас! Ты схватился за голову. Когда Бакизат, продолжая, рассказывала о том, как взлохмаченный пьяный верзила, брызжа пеной изо рта, словно дромадер в пору гона, мрачной тучей навис над ней, и она, бедная, и без того в ужасе, нагая, съезжившись в дрожащий комочек, зажмурила от страха глаза...

– Не говори! Не надо! Не надо!

Ты не заметил, что кричишь, как тогда. Но, опомнясь, смутился. Однако шоферу, похоже, ни до чего не было дела.

После того как перевалили хребет Бел-Аран и углубились далеко в степь, ты начал избавляться от терзавших тебя тяжких раздумий. Больше не обращал внимания на угрюмое потное лицо водителя, сосредоточенно следившего за дорогой, не отрывая от нее взгляда. И почти до самого Аральска неотрывно разглядывал побережье, прильнув к боковому окошку. Над головой синело прозрачное небо. Сбоку вставало стеной, синело море, заполнив собой полмира. А где-то там, у горизонта, синее небо и синее море сливались



воедино. И от этой сплошной сини уставали глаза, кружилась голова. Синь зыбилась, и тогда ты, ища опоры взгляду, смотрел то в степь, то на шофера, припавшего к рулю. Тот сумрачно молчал; по-шоферски отрешенно-внимательный взгляд его устремлен вперед, кончик носа маслянисто поблескивал. Иногда, чтобы сократить дорогу, он резко сворачивал в сторону моря, пускал машину напрямик по ровной, как стол, поверхности высохшего, покрывшегося ломкой коростой бывшего лимана или заливчика. Выехав на дно иссохшего лимана, машина поднимала колесами густо-белесую, горькую от соли пыль...

Да, обмелело море, далеко ушло от изначальных своих берегов, неприглядно обнажив дно заливов и бухт, где совсем еще недавно, бывало, стояли на якоре пароходы, баржи и шныряли юркие катера. Небольшие острова по эту сторону – Жаланаш, Буюргунды, а с ними и знаменитый Кок-Арал, оставшийся в стороне, во-он за тем поворотом, за пологим песчаным увалом, – теперь сошлись, как старики на тризне, и слились с материком, тоскливо белея солевыми проплешинами. На этих островах жили некогда твои предки, промышляя в путину рыбу, держали здесь богатые тони, а теперь ты с трудом, лишь усилием памяти, находил их, и картины прошлого, одна живее другой, вставали перед тобою и невозвратностью своей бередили душу. Вдруг ты встрепенулся и выпрямился. Эй, а это что за впадина? На этом месте вроде не было ничего подобного? Но постой!.. Постой... Да-а это же... вроде Шомиш-коль?! Да, оно! Мир тебе, бывшее озеро Шомиш-коль! Вот каким ты стало... В горячую пору путины, бывало, наши предки черпали здесь непомерную тьму рыбы, оттого и название пошло – Черпак-озеро. Мир тебе, дедовский славный край! Благодатная колыбель моих предков, пустиной травой-горечью ты поросла, горькой солью подернулась.

Словно мурашки замелькали в глазах. Заморгали отяжелевшие от слез веки. Горькие рыдания, поднявшись в груди, комом подступили к горлу. Ты испугался, что они вырвутся наружу, и, дрожа, стиснул зубы. Неприметно, искоса взглянул на шофера. Но тот глядел лишь вперед. Расхристанная машина грохотала и дребезжала. Все четыре колеса пробуксовывали, вздымая со дна котловины белесую солончаковую пыль. Вдруг машину сильно подкинуло на какой-то колдобине, она, притормозив, сбросила скорость, и белая соляная пыль мгновенно вырвалась вперед, запуржив, заволакивая путь. Кабина мигом наполнилась взметнувшейся белой пудрой.

Вот и Шомиш-коль проехали напрямик. А в послевоенные годы, помнится, путник, направляясь в Аральск, полдня тратил лишь на то, чтобы обогнуть достославное это озеро. Тогда камыш стоял крутой стеной, и путник, переведя коня на шаг, настороженно ехал по узкой тропинке. В жутких этих зарослях даже испытанному джигиту становилось не по себе, и он оглядывался по сторонам, по-звериному чутко прислушиваясь к каждому шороху. А в чащобе камышовой становилось всё сумрачней, всё глуше. Толстый, словно бамбук, камыш тянулся ввысь, закрывая, сужая небо над головой, порой смыкаясь метелками.

Но вот пронесился поверху ветерок, и всё вокруг мгновенно менялось, наполнялось торопливым бегущим шорохом и шелестом, будто мигом собрались и зашущукали здесь кумушки-сплетницы... Пышные шелковистые метелки наперебой шептали что-то, лепетали, кивая, склоняясь друг к другу, и впрямь как сбежавшиеся на некую новость бабы. И камышовое царство мгновенно сбрасывало с себя сонную одурь, оживало. И молодой курак нашептывал свою не понятную никому бесконечную песню, и невидимые в густой чаще птицы заливались на все голоса. Совсем недавно... Стоило только перевалить за седловину Бел-Арана, вдоль всего побережья до самого Аральска тянулись один за другим густонаселенные, памятные твоему сердцу острова и бухты – Коль-

кора, Кок-арал, Ак-басты, Сары-ба-сат, Тас-тубек... Бок о бок соседствовали рыбацьи поселки, и в вечернем безветрии от соседней явственно доносился лай собак. А в весеннюю пору, когда один за другим начинались многочисленные, исстари заведенные праздники, молодежь соседних аулов, принарядившись, навевывалась друг к другу. Из аула в аул добирались и морем на лодках, и прибрежной степью на подводках, сбивались в ватажки, и веселье шумело днем и ночью. Качались на качелях, пели песни, устраивали игры. Так было, и всё это еще живо у многих в памяти, но ничего этого теперь не осталось, прошло, истаяло, как сладкий сон на заре. Теперь вдоль всего побережья не осталось ни людей с их песнями, ни былого разнотравья. И стало ясно: ничего нет на свете печальнее заброшенного человеческого становища. Знойными днями, когда с окрестных степей налетал ветер, взбивались до небес, крутились, вихрились пыльные бури. Едкая пыль эта проникла даже в закрытую кабину. И вскоре путники покрылись пылью с ног до головы. Брови, ресницы, щетина на лице – всё словно мукой обсыпало. Пыль забила ноздри, лезла в глаза, скрипела на зубах. «Тьфу! Какая гадость!» – сплевывал шофер.

Машина наконец-то пересекла дно высохшего озера и, поминутно буксуя в песке, выкарабкалась кое-как на бугор, поросший солончаковой колючкой.

– Басеке, – обратился вдруг шофер, – видишь вон тот красный яр? Помнишь, когда-то на этом яру стоял дом?

Да, вспомнил. Но теперь там, где стоял дом, лежала гряда развалин.

– А ты помнишь, когда-то в этом доме ночевали? – сказал шофер, отчего-то довольно посмеиваясь.

Ты смолчал.

– Не помнишь, что ли? Тогда море только начало мелеть, – продолжал шофер.

– Да, помню. Кажется, где-то году в шестьдесят пятом, шестьдесят шестом...

– Мы тогда ехали на этой же колыхаге в Аральск. Правда, машина тогда была новенькой, еще краской блестела. Вечер как раз надвигался. Мы с тобой решили остановиться тут на ночлег, – шофер снова дурашливо захохотал.

– Ладно, хватит.

– Прости, басеке. Дай мне хоть вспомнить.

Шофер снова ухмыльнулся. Покосившись на тебя раз-другой, всё еще ухмыляясь, сдвинул на затылок тыльной стороной руки, с алюминиевым колечком на безымянном пальце, свою кепку с поломанным козырьком.

– Что ты всё молчишь, басеке? Неужто в твоей башке ничего не осталось, кроме забот-хлопот этого дохлого колхоза?! – Шофер хохотнул было, но тотчас оборвал смех, покосившись украдкой на тебя. – Ну, не стану тебе голову морочить. Хозяйка была, как говорится, кровь с молоком. Когда ложилась спать, она отнесла лампу к порогу и фитиль прикрутила. Хозяин мигом захрапел, не успел башкой подушки коснуться. Ну, тут вылез я из-под одеяла и пополз, значит, на четвереньках. А она, чертовка, патлы-то распустила по подушке, и, знаешь, пахнут они черт знает чем... Чем-то бабьим. И-эх, думаю!

– Ишь ты, слюни распустил...

– А как же, баба-то в соку... Вытянул, значит, я шею, всмотрелся получше – вот те раз!.. Лежит она в объятиях своего хрыча. Ну, тут я пристроился рядышком и осторо-о-жненько дотронулся... Проснулась она тут да как завопит: «Прочь! Прочь, негодяй!» Ну, конечно, муженек её голову поднял, озирается вокруг. А я, как заяц, юрк в свою постель...

Да, получилось ужасно неловко. Не дождавшись рассвета, вы поспешно уехали. Да и вообще, многие его выходки вызывали у тебя раздражение. Однажды, возвращаясь из дальней поездки, ты случайно открыл бардачок в кабине и среди

всякой всячины обнаружил в нем две книги. Одна была на русском, с изображением трехтонного грузовика на твердой обложке. Было видно: книгу в руках никто не держал. Зато другая повидала виды. И было это не что иное, как Коран. Начальных страниц не оказалось. Истрепанную книгу ты раскрыл с середины, и там тоже виднелись всюду отпечатки пальцев, жирные мазутные пятна.

– Слушай... – спросил у него, – кажется, ты в комсомоле состоял?

– Да, было такое...

– А теперь? Зачем это тебе?

– Жить надо, шеф. Жизнь хреновая. Потому Божьим делом немного и промышляю.

Сказал он это без тени смущения на лице. Недавно вот этот малый, едва вернувшись из дальней поездки, поспешно заглушил грузовик и, не чуя ног под собой, побежал на чьи-то похороны, на ходу стряхивая с себя дорожную пыль. Кое-как обмотав голову полотенцем, протиснулся в ряд коленопреклоненных стариков в белых чалмах. От нового «коллеги» так разило водкой, бензином и табаком, что муллы всполошились, забормотали в негодовании: «Прочь! Сгинь! Сгинь, нечестивец!..» Шофер, однако, не смутился. Оттесненный старцами, он тем не менее, приняв смиренную позу, закрыл глаза. И нельзя было понять, то ли в самом деле молился, каясь в своих прегрешениях перед Всевышним, то ли матом крыл про себя усатого районного милиционера, который вчера оштрафовал его в городе на пять рублей за то, что он не пропустил через дорогу школьников. Как бы там ни было, этот негодник точь-в-точь повторял всё, что делали Аллаховы слуги в белых чалмах: прижимал ладони к груди, со вздохом опускал глаза, усердно шевелил губами... Напрочь, должно быть, забыл в эти минуты, что всю жизнь только и делал, что курил табак, хлестал водку, хаживал по бабенкам да еще изрыгал разные богомерзкие слова. Глядя на его благочинный, отрешенный вид, можно было подумать, что он святее самого ишана, что неукоснительно блюдет все посты, совершает пятикратный намаз и, как истый мусульманин, предпочитает земным утехам возвышенные беседы с Аллахом. Но этого смирения хватило ему ненадолго. Едва только принесли муллам подношение, как, бесцеремонно расталкивая локтями сердито бормочущих стариков, он одним из первых заполучил свою долю. А получив её раньше других, «праведник», выводя неведомо какую, смахивающую на марш бодренькую мелодию, отправился в сельский магазин. На несколько рублей, доставшихся ему на похоронах, взял бутылку водки, сунул её в карман узеньких брюк и, напевая всё ту же похожую на марш песенку, отправился домой...

Но как бы там ни было, а дело свое он знает. И если разбитый, искореженный на проселках грузовичок всё еще исправно служит колхозу, то лишь благодаря этому нечестивцу. И еще есть в нем одно золотое качество – безотказность. Подними его в любое время дня и ночи, он всегда готов к твоим услугам. Растолкай его на рассвете, даже после какой-нибудь буйной ночи, – и он промычит что-то спросонок, протрет глаза, помочится головой, расчешет пятерней жесткую, отродясь не выдавшую гребешка, спутанную гриву и через минуту уже на дворе. Там он, протяжно зевая, помочится непременно на пыльный скат грузовика, встряхнется по-собачьи и лишь потом влезет в кабину, плюхнется на продавленное сиденье. Скажешь: «Жми!» – и он поплюет попеременно на ладони и с готовностью откликнется: «М-ма-мент!..»

Как-то раз ты поинтересовался у него, что означает это его магическое слово, а он сунул пальцы под свою мятую кепчонку, почесал затылок и хмыкнул неопределенно: «А хрен его знает! Ты говоришь: “Жми!” – а я, стало быть, отвечаю: “Пожалуйста, коли тебе охота...”»

Зовут его Кожбан. Однако никто в этом краю не называет его по имени. И стар и млад, и в глаза и за глаза – все кличут его всегда «шофер-бала». И хотя

шофер нынче более чем зрелый джигит, он ничуть не обижается на то, что называют его «бала» – мальчишкой. Пожалуй, даже наоборот. Настолько сжился с этим прозвищем, настолько привык к роли расторопного, готового услужить всем паренька, что и старших, и тех, кто моложе его в ауле, одинаково величает «агай», то есть «дядей». С такой же простоватой безотказностью, не глядя на старшинство, выполнит просьбу любого: только заикнись – и уже, смотришь, спешит к грузовичку, чтобы через мгновение мчаться как угорелый хоть на край света...

– Ну вот, басаке, и Аральск! – явно повеселел шофер, когда из-за черного увала запестрели крыши саманных домов. – А то едешь-едешь, а кругом одна пустота и развалины... Как на кладбище, мать твою в шестеренку!..

В прежние, совсем еще недавние времена первыми бросились бы в глаза мачты кораблей в порту. Они были куда выше самых высоких зданий в городе. Но с тех пор, как море начало уходить, судоходство на Арале прекратилось, и кое-какие оставшиеся суда, когда-то плававшие в далекие Ургенч и Муйнак, чернели, гнили теперь там-сям на приколе, точно туши гигантских рыб, выброшенных бурей на отмель.

– В город заезжать не будем. Жми по кольцевой дорогой прямо к Сырдарье.

– Конечно, можно... но, басаке, не получится.

– Как?

– Да так, бензин на исходе. Придется заехать.

– Только, айналайын, без задержки.

Заправочная на окраине города. Когда подъехали ближе – ужаснулись: каких только марок не было здесь. Махонькие «Запорожцы», груженные МАЗы, КраЗы и БелАЗы.

– Да, проблема, – сказал ты.

– Где нет нынче браблем, – протянул шофер и, приоткинувшись на спинку, пропел: – Э-э, басаке, наша жизнь не жизнь, а автобаза, не дают нам проходу КраЗы, МАЗы. Вот так, басаке. Шаг ступишь – и, бажалыста, браблема. А ведь на каждом шагу твердим: мол, нефти у нас – море. Вот, бажалыста, и она, браблема...

– Ладно, хватит!

– А что? Не так? Какую газету ни возьми, хоть наши «Аральские волны», только и твердят про...

Шофер еще что-то бормотнул, уже невнятно. Опять, небось, крыл кого-то в хвост и в гриву, и в шестеренку.

– Видать, тут мы проторчим до ночи. Как думаешь... Может, дотянем как-нибудь до Сырдарьи, а?

Шофер длинно присвистнул:

– Да ты что?.. Бензин кончится – будем торчать среди степи.

– Апырай, а? Разве тут дожدهешься?

– Зачем ждать?

– То есть?

– М-ма-мент! – шофер хитро подмигнул.

Не раз ты был свидетелем того, как при слове «м-ма-мент» у него запросто, как бы сам собой, находился выход из положения. Интересно, что же на сей раз задумал? Ты молча наблюдал за ним. А он, бестия, между тем надвинул сломанный козырек кепчонки на самые брови, припал телом к рулю. И не успела шоферня вокруг опомниться, как он, шустро лавируя между рядами машин, неуследимо, точно ртуть, просочился вперед, к бензоколонкам. Шоферская братва всполошилась, загудела:

– Эй, эй, ты куда?

– Откуда этот хрен моржовый взялся?

– А ну, проваливай! В шею его! Шустряк нашелся!

– Кто там поближе – не пускайте!

Но шофер-бала и бровью не повел. Спрыгнул с подножки. Выплюнул свою давно потухшую папироску. Нашарил под сиденьем связку воблы. Теперь-то тебе стало ясно: сейчас он, конечно, не мешкая направится прямо к заправщику и, какого бы рода-племени тот ни был, поприветствует своим непринужденным «салют!» и бросит перед ним связку сухой рыбы. И если смутившийся при людях заправщик не сразу потянется к ней – тогда шофер пойдет напролом: «Ты, дорогой, что? – скажет он. – Такую воблу нынче во всем Арале не найдешь, клянусь Аллахом! Пальчики оближешь! Особенно с пивком, а?!» И отбросит связку в угол.

Как-то, помнится, Бакизат надо было ехать на курорт. Билетов на поезд не было. Ты растерялся, не знал, как быть, а тут еще и теща не преминула попилить тебя при народе: «Ну, чего ты стоишь? Нынче разве чабаны, рыбаки не в почете? Вот ты и покажи свои хваленые права... Ступай вон к той кассирше и объясни ей, что ты трудяга-рыбак. И не простой, а дипломированный!..» К счастью, выручил всё тот же расторопный шофер-бала. Мигнул тебе, сказал: «М-ма-мент!» – и, выхватив из-под сиденья десяток сушеных чебачков, нанизанных на засаленную бечевку, направился к плотно закрытому окошку кассы. Не сразу оно отворилось, но уже вскоре оттуда послышался проникновенный девичий голосок: «А вам в какой вагон, товарищ?»

Нет, с таким шофером не пропадешь. В ауле он и святошей прикинется: полотенце на голову наматает и вместе с муллами зауспокойную молитву пробормочет, а в городе и за рубаху-парня сойдет, в игольное ушко пролезет!..

\* \* \*

– Салам алейкум!

Никто не ответил. Решив, что не расслышали, повторил приветствие. Но и на этот раз в хижине не откликнулись. Ты недоумевал. В нерешительности потоптался у порога, не проходя дальше, пригляделся. Густой мрак скрадывал дальние углы смрадной камышовой хибарки. Тусклый свет керосиновой лампы у входа, мерцая, робко жался к подслеповатому, захватанному стеклу. То ли пар, то ли дым не давали в первые мгновения что-либо разглядеть. Лишь когда глаза попривыкли, ты заметил – посреди камышовой лачуги нависал над огнем очага огромный черный казан, вокруг которого сидели промокшие и продрогшие рыбаки. Из-за густого пара и дыма ты поначалу ничего не различал. Приметил лишь одного из них, у которого не попадал зуб на зуб. Весь дрожа, тот лез в самый огонь.

– Вот проклятье! Эй, чего сидите! Подуйте кто-нибудь на огонь!

Ты сразу узнал сердитый трескучий голос. Несколько человек, нагнувшись, стали дуть на огонь под казаном со всех сторон. Из-под хвороста повалил ядовито-бурый дым, растекаясь понизу. Поняв, что сейчас им не до тебя, ты бросил у порога дорожный мешок и втиснулся в круг хмурых, безучастных ко всему рыбаков. Пламя, облизывая сырые сучья, взялось нехотя.

– Сушняку... сушняку подкинь! – раздался тот же трескучий голос.

Молодой рыбак сгреб охапку хвороста у стены, но раздраженный сосед оттолкнул его:

– Да не весь хватай... На растопку оставь...

Стало ясно, что и здесь от рыбаков отвернулась удача. Обычно, когда возвращались они с путины с богатым уловом, им ни холод, ни голод, ни тем более усталость не были помехой для забористой шутки и громового хохота. И как будто светлее становилась тогда их не протопленная с утра хибарка, гораздо оживленней хлопотали они над казаном, заваривая густую рыбацкую уху.

Да, мелеющее море – что выгоревшее в засуху пастбище. Если скудеют выпасы, хиреет скот. Если соленость моря поднимается, исчезает рыба. Уходит она, шарахается от губительной соли мелких заливов, устремляясь туда, где попреснее и поглубже вода. Рыба уже давно одурела, точно одичавший скот в годину бескормицы. И вот за этой измученной, разбившейся на мелкие косяки ошалевшей рыбой гоняются люди всё лето и всю осень, не зная ни сна, ни отдыха, вдали от родного очага, от жен и детей. Удрученные неудачей, рыбаки даже не расспрашивали про своих жен и детвору. Всех будто заворожил казан на треноге, который уже закипал, побулькивал, из-под крышки валил парок, и первая волна сладкого запаха свежей ухи расходилась по лачуге, щекоча ноздри.

Шофер, сильно оголодавший за дорогу, не выдержал первым.

– Эй, не камни ведь варим! Рыба небось давно уже приспела, – сказал он и, нетерпеливо вытянув шею, сунулся к котлу.

Черный, как головешка, старичок с поразительным проворством стукнул его половником по лбу:

– Сядь! Ишь, не терпится...

Подгребая горячие угольки кочергой-косоу, ты исподлобья покосился на старичка. Был он весьма известен своим вздорным нравом. И хотя при рождении нарекли его именем Кошен, однако из-за несносного характера еще с детства звали его в ауле то Зловредным Кошеном, то Неуживчивым Кошеном, а чаще – Упрямым Кошеном. Его упрямство дошло до того, что всю свою жизнь он поступал не иначе как назло всем, наперекор всему, даже здравому смыслу. Упрямый Кошен и сейчас сидел, точно баксы для устранения малышни: на плечах заскорузлый кожух, на лоб надвинута лохматая баранья шапка-борик. Не мигая, в упор смотрел на огонь. Иногда косился на тебя, и в его остекленевших глазах играли отблески пламени. Во всем его облике что-то строптивое, задиристое, как у старого драчливого козла. Ты искоса глядел на него еще с тех пор, как только вошел в хижину. Он сидел, вроде бы не обращая внимания на то, есть ты тут или тебя нет. Но, как ты узнал потом, старичок, оказывается, краем глаза неотвязно следил за тобой. Затянувшееся в хижине молчание подействовало на тебя, и ты, улучив момент, завел разговор:

– Холодновато тут у вас. Настоящая промозглая осень... – неуверенно заговорил ты.

Никто, однако, разговора не поддержал. Хмурые люди продолжали сидеть, безучастно уставясь на побулькивающий казан.

– Апырай, верно сказано: земля разнолика, тучи обманчивы. Даже на двух берегах одного моря погода разная. На той стороне, когда мы выезжали из дому, была теплынь. Жир в чашке не застынет. А здесь у вас... Ну прямо до костей пробирает.

Кошен будто ждал этого.

– На той стороне, говоришь? – хмыкнул. – Это еще на какой такой стороне?!

Ты понял, что нечаянно задел зловредного старика за живое. Смешавшись, не зная, как сгладить неловкость, не осознавая, что делаешь, ты начал ворошить огонь под казаном.

– Эй! Эй, вы чего молчите?! – взвился трескучий, хлесткий голос вздорного старика. – Приехал? Приехал! Сел? Сел! Ну и сиди помалкивай. А то долдонит о какой-то там стороне, где жир не застывает. Нам, на этой стороне, от этого легче, что ли? А то мы сами не знаем, что на той стороне тепло и жир в супе не стынет?

– Но... Кошке, я... я просто хотел...

– Брось! Хотел – не хотел... Мы что... без тебя не знаем, как там хорошо! И нам было бы хорошо, объявись мы сейчас там, на той стороне. Какая подня-

лась бы радость. Кинулись бы нам на шею наши дети. Или за шесть собачьих месяцев мы... мы тут не истосковались по бабам? Хочешь знать, каждому задрипанная своя бабенка не хуже райской девы! А он... Он тут нам про ту сторону рассказывает. Да я и без тебя знаю, что там, на той стороне, хорошо!

В лачуге воцарилась тишина. Ни один из сидевших вокруг казана рыбаков не возразил старику. В хижине только булькал вовсю кипевший казан. Потрескивал под казаном сырой хворост. Тишина стала настолько гнетущей и давящей, что ты не находил места и не знал, куда девать руки с кочергой. Стал было ворошить угли под казаном, над ухом снова взвизгнул трескучий голос:

– Эй! Эй, не трогай... не трогай огонь! Ты что, к нам в печке шуровать приехал?!

Плоскогрудый, как доска, тощий и сухой старикашка так и пылал гневом! Скулы обострились. Глаза остекленели. Он злобно фыркнул, не зная, на ком отвести душу.

– Видали мы всяких начальников. Приезжают – хвост дудкой. Можно подумать – посланник Божий явился. Но те... Те хоть о житье нашем спрашивали. А этот... этот...

– Чего тут спрашивать?.. Сам вижу.

– А-а!.. Видишь, значит?! Ну, слава Аллаху! Спасибо и на том. А то Всевидящий там, на небе, перестал нас видеть. Я думал, и начальство тут, на земле, поослепло. Ну, спасибо. Спасибо!..

Ты сидел понуро, опустив голову, и не думал ни о чем, кроме Бакизат. Думал о своем клятвенном обещании, что «только туда и обратно»... Апырай... Апы-рай, как теперь быть? Как?.. И в это время из-за булькающего казана кто-то подал голос:

– Жадигер, дорогой, хорошо, что ты приехал...

Из-за дыма и пара при тусклом свете керосиновой лампы ты не различал его лица, видел только крупную, смутно темневшую фигуру, но узнал его по тому, как он говорил – грудным басовитым голосом, размеренно и спокойно. У этого казаха на удивление светлые глаза и рыжие волосы, потому и называли его Рыжим Иваном. Приходился он тебе дальним родственником. Был скуп на слова. Сдержан.

Рыжий Иван замолчал, будто обдумывал слова, которые собирался сказать. И степенно продолжал:

– Не обижайся на нас. Тем более на старика. Сказать по правде, поклониться надо им всем. Где-где, а в работе себя не щадят. Но что поделаешь... улов никудышный. Всё без толку, и силы наши, как дым, в небо уходят. А неудачи – что камень на шее. Тяжело. Случается, поцапаемся между собою... Как звери порой рычим друг на друга. Чего греха таить, в гневе под горячую руку и тебе может перепасть... Хотя, конечно, понимаем: в нашей неудаче ничьей вины нет. Просто обидно бывает: вот, мол, и он про нас забыл.

– Эй! Эй, что ты тут мелешь?! Как это «никакой вины нет»?! Нас завез на край света. Бросил. А сам там, на той стороне, где жир не стынет, с бабой своей тешится!.. На нас наплевать, хоть подохни тут!

– Дурень ты. Вся жизнь, как бешеный хорек, на всех кидаешься. Дожил до седых волос, только и знаешь лаяться. И какой тебе прок от этого? Может, золотой гребешок на башке пророс, будто венец?

– Эй, рыжий пес! Хочешь знать, и ты не больно далеко ускакал, хоть и всю жизнь подстилкой под начальство стелешься! И твой калган не корона украшает. Я правду скажу. Кому угодно скажу. Надо будет – в рожу плюну. В царское время послушнику голову рубили, а язык не трогали. С какой такой стати мне свой язык зря жевать? Будешь злить, не то что баскарме – и начальству скажу! Даже на-

чальству начальства! Что мне сделаешь? Рот зажмешь? Глотку заткнешь? Или что... когда я достиг возраста пророка, – ты... ты мне за слушание мой дряблый отросток отрежешь? Ну, на, режь! Режь!

Дрожа от ярости, он вскочил. Показалось на миг, что в диком исступлении старик и вправду сейчас перед рыбаками, годящимися ему в сыновья, примется расстегивать свои заскорузлые штаны из овчины... но Рыжий Иван дернул его за полу кожуха, и этого было достаточно, чтобы старичок, нелепо взмахнув руками, повалился навзничь.

– Заткнись! Убью! – прогудел Рыжий Иван. Сказал негромко, но что-то такое послышалось в его голосе, что все поверили: выведи его из этого непоколебимо-го спокойствия – и убьет.

В хибаре злее ощущался холод. Ты, избегая смотреть на притихшего, ставшего враз каким-то несчастным старого Кошена, потянулся рукой к хворосту, вытащил из вороха разлапистый куст, обломал с хрустом, кинул в огонь. Пламя ярко взялось, мгновенно вырвав из сумрака обветренные, задубелые лица рыбаков. Только теперь ты разглядел за котлом своего дальнего родственника. Лицо Рыжего Ивана, обычно в светлых конопатинах, столь несвойственных соплеменникам, сейчас обрело цвет медного, с глубокими тенями, чекана. Брови, ресницы, борода отливали бронзой.

– Жадигер, дорогой... ну, как там у нас?

– Нигде не ладится. Нет рыбы. Люди уезжают.

– Да, жить стало неважно.

Рыжий Иван тяжело вздохнул. Неторопливо запахнул полы чапана. Спокойный вид этого крепко сколоченного человека, его сочувствие, раздумчивая печаль в ровном тихом голосе на время как будто развеяли напряженную тяжесть в хибаре. И ты, и все вокруг казана почувствовали некоторое облегчение.

Ты еще мальчишкой помнил, как он после войны, тяжелораненый и контуженный, целый год провалявшись в госпитале где-то в Сибири, вернулся в аул на костылях. Однако через недельку после возвращения приковылял к тогдашнему председателю: «Голодные детишки, будто щенята, душу мою вымотали, дай мне, дорогой, работенку». Баскарма определил его ночным сторожем материального склада колхоза. Но Рыжий Иван вскоре вновь пришел к председателю: «Не по мне эта работа. Всю ночь не смыкая глаз сидишь, душу изводишь, только и думаешь о том, где что болит, что ноет в искалеченном теле. Лучше уж потягаю, как прежде, сети. Дело привычное».

Баскарма нехотя согласился. И с того дня Рыжий Иван, ковыляя на костылях, выходил вместе с рыбаками в море. В пору ледостава, когда под напором режущего ветра зябко топтались на берегу рыбаки, не решаясь ступить в студеною воду, Рыжий Иван, калачиком повиснув на своих деревяшках, преспокойно ковылял к лодке. Добравшись до кормы, переваливался через нее в лодку. Потом втаскивал за собою костыли и прислонял их к борту. Затем хватался за весла и не спеша, не суетясь, как другие, сильно и уверенно греб к сетям, расставленным далеко в море. Не спешил и вечером, когда возвращался домой. Как всегда, монотонно и заунывно скрипя уключиной, его плоскодонка ровно подплывала к крайним поплавкам, и Рыжий Иван всё с той же сосредоточенной степенностью начинал проверять сети. А зимою выезжал на санях по береговому припаю на подводный лов, и на обратном пути понуря гнедуха, обычно весь день дремавшая возле человека с костылями, бодро встряхивалась, выражая радостное оживление. Тут уже не приходилось подогревать её ни плеткой, ни вожжами, смиреннькая нравом лошадоочка трусила бойко, как можно резвее, четко поцокивая всеми четырьмя копытами по гулкуму льду. И каждый день, ко времени



возвращения Рыжего Ивана, на берег выбегали такая же рыжая, сероглазая девчушка с двумя косичками да огромный мордастый черный пес.

Иногда рыбак задерживался. Тогда они ждали долго, не шелохнувшись. Пес, дойдя до кромки льда, лежал, одним ухом прижимаясь к земле, а большеглазая девчушка стояла, вглядываясь в даль, вслушиваясь в каждый шорох. Черный пес первым улавливал знакомый стук по льду. В те послевоенные годы орудий лова не хватало, не хватало и саней. Один полоз старых саней Рыжего Ивана был надтреснут и при быстрой езде, скребя по льду, повизгивал. Черный пес по этому визгу безошибочно узнавал хозяина, вскакивал, как подкинутый, и бросался вперед. Рыжая девчонка бежала вслед за ним. Пес быстро исчезал в черноте зимней ночи, но снова возвращался, влаивал, точно поторапливал и без того запыхавшуюся свою маленькую хозяйку: «Давай... давай скорее!..»

Рыжий Иван кидал псу мерзлого чебака. Потом, улыбаясь до ушей, усаживал на сани рядом с собой добежавшую дочурку. Мордастый черный пес торопливо заглатывал чебака и, всё еще не в силах унять ликующую радость, визжал, догоняя хозяина, и с ходу вскакивал в сани. Так они втроем на санях доезжали до дому. Рыжий Иван у порога стягивал с себя задубевшую на морозе зимнюю одежду и проходил вперед, устраивался у очага, прижимаясь к жарко натопленной печке. Насквозь продрогшее тело и после чая долго не согревалось. И весь вечер он, прижимая к груди рыжую дочурку с двумя торчащими на затылке косичками, приговаривал нараспев сирым от простуды голосом: «Ты для мамы – Гуль-Патша, для папы – Ай-Патша\*».

Со временем Рыжий Иван оправился. Бросил костыли. Еще под Сталинградом, в самый грозный час битвы, он вступил в партию. Став председателем колхоза, ты первым делом предложил Рыжего Ивана избрать секретарем парткома. Долгие годы, считай, до недавнего времени, когда море стало усыхать, а колхоз хиреть, вы работали рука об руку, деля поровну радости и горести. Что и говорить-то, работать тебе с ним было легко, ибо на этого всегда спокойного и надежного человека можно было положиться во всем.

Вот и сейчас ты чувствовал его молчаливую поддержку и в душе испытывал благодарность. Ты снова потянулся к огню, пошуровал кочергой, и тлеющие сучья вспыхнули ярко, с треском, взметывая под закопченный потолок искры, и рыбаки, сидевшие у казана, невольно отшатнулись. Один лишь Кошен не шелохнулся. Как сидел, подставив плоскую волосатую грудь к близкому огню, так и остался. Пламя метнулось к нему, лизнуло, послышался сухой треск и явно запахло паленой шерстью.

– Брось подкладывать! Рыбу разваришь. Лучше скажи, надолго ты к нам заявился?

– Кошке, вы меня спрашиваете?

– Кого же еще. Конечно, тебя.

Ты видел, как у очага все разом обернулись к тебе. Даже Рыжий Иван, гляди-ка, и он глаза потупил. Видать, выжидал, хитрец. Недаром Кошен называет его рыжей лукавой лисой, и в самом деле, как похож он на старого лиса, никогда не позволяющего себе опрометчивого шага! Его лисья повадка задела тебя больше всего.

Ох, как вертелась у тебя на языке злые слова. И как хотелось тебе сказать этим всем чертям, притихшим у казана: и этому Рыжему Ивану, и Упрямому Кошену, что не собираешься тут оставаться... Во что бы то ни стало ты сдер-

---

\* Гуль-Патша – Царица-Цветок; Ай-Патша – Царица-Луна.

жишь слово, данное Бакизат, и посему завтра чуть свет уедешь обратно. «Да, да, уеду! Переночую и уеду! Уеду!» Ты собрался с духом и готов был сказать сейчас, сию же минуту... Даже и рот раскрыл, но... но... но вдруг на тебя нашло что-то. Подлая, жалкая, всю жизнь подводившая тебя нерешительность сковала и самого тебя, и уста твои.

...И с того дня минул месяц. И вот сейчас стоишь ты один-одинешенек на ледяном поле, как кулан, отбившийся от своего стада, мучаешься, терзаешься и думаешь о своей нерешительности. Ну почему... почему ты не сказал тогда, что уедешь? И не это ли стало причиной и разлада с женой, и всех бед, которые навалились сегодня на тебя?..

Кошен фыркнул:

– Ребята, давай, вытаскивай рыбу! Баскарма домой торопится. Скатертью дорога! Пусть едет! Пусть... пусть катится!

Как тебе хотелось, не сказав ни слова, выскочить из лачуги, броситься прочь, уйти. Уйти куда глаза глядят. Но и на это не хватило решимости. Эта проклятая, вечно сводившая на нет твои усилия нерешительность...

Да, и тут подводил тебя твой собачий характер... Будь на твоём месте кто-нибудь с крутым, решительным норовом, заночевал бы у рыбаков, посмотрел на их житье-бытьё, а наутро с рассветом укатил бы обратно. А ведь никто не тянул тебя за язык, ты сам распинался, клялся и божился Бакизат, что не удержишься, лишь заночуешь – и назад. Но ты забыл свое обещание. Нет, не забыл. Какое уж забыл, если перед твоими глазами стояла она, отчужденно отворачиваясь от тебя, недоступная. Даже на следующий день, после того, как ты, переночевав у рыбаков, сидел с ними за завтраком, перед глазами мреяла она, как всегда красивая, но непримиримая, отчужденно отворачиваясь от тебя. И ты настраивал себя: раз уж обещал Бакизат, нужно возвращаться. «Да, вернусь! Вернусь!» – твердил про себя.

– Ну что, едешь, значит? – спросил Кошен.

Ты хотел сказать: «Да, еду!» Но молчал, сидел понуро, не поднимая опущенных глаз.

– Ну что же, езжай! Езжай! – злорадствовал Кошен. – Только не забудь передать от нас привет нашим семьям! Так и скажи: живы еще, не подохли. Семижилые, мол, скажи. Рыбку ловят, скажи.

В камышовой лачуге воцарилась тишина. Рыбаки, только что говорившие вразнобой за дастарханом, разом умолкли и, как вчера, выжидающе уставились на тебя, затаив дыхание. А у тебя в тот миг дыхание вовсе перехватило. Как сейчас кажется, ты в тот миг даже не осознавал, на каком свете находишься, и вообще, существуешь ли ты или нет в этом мире. Если даже и существуешь, то будто некая накотившая откуда-то сторонняя сила, лишив тебя воли твоей, властно захватила тебя. И мнится теперь, что не эта ли странная сила и вложила в твои уста слова, о которых ты до этого не помышлял ни сном ни духом:

– Бог даст, после первого же подледного лова все вместе и вернемся... – сказать-то сказал, но сам ужаснулся.

О Боже! Но как повеселели вдруг рыбаки! Смотри, даже зловерный старикашка вдруг разом воссиял. Резкий, как у чайки, пронзительный голос его обрел непривычные для него благодушные нотки.

– Жадигержан, ешь! Пей, пей чай!

Так проходили день за днем. Неделя за неделей. Осень понемногу уступала место суровому предзимью. Хлынули холодные ноябрьские ливни, напитали влагой иссохшую с весны землю. И мокрая стынь надолго водворилась в камышовой хибарке. Потом ударил первый морозец, за ним другой, укрепил расползавшиеся было под дождями берега. Застеклил тонким льдом мелкие озерца. И только море ревело, ворочалось, урчало ветрами. Но привычные ко

всему рыбаки не обращали на это внимания. Промозглый ветер свободно гулял в трухлявой хижине, под утро инеем схватывались стены. Продрогшие за ночь рыбаки вставали чуть свет. Вылезая из-под одеяла, ежились в ознобе, кряхтели, поспешно натягивали одежонку, кое-как просохшую у очага. На ходу завтракали холодной рыбой, оставшейся с ужина. Хватали под мышки весла, шесты и гуськом спешили к морю, гулко топоча по мерзлой до звона земле. У берега сталкивали в воду лодки, привычно вскакивали в них и, яростно, до хруста в костях, загребая против крутых, в гневе топчущих берег волн, направлялись туда, где мог пройти косяк рыбы, ставили сети. И так изо дня в день. Порой черная буря, то и дело налетавшая в последнее время с севера, и сильное подводное течение моря скручивали поставленные накануне сети в веревки. И тогда рыбаки с великой мукой вытаскивали невод на берег, очищали его от ила и коряг и потом, насквозь промокшие, измученные и голодные, тащились поздно вечером в остывшую за день хибарку. Заметно было, как исхудали все, особенно за последние дни. Обросли щетиной и грязью. На нескончаемом ветру и морозе лица задубели, потрескались, покрылись черными засохшими струпами.

\* \* \*

Завалились спать еще в сумерках, решив подняться завтра спозаранок. Вымотанные рыбаки, едва коснувшись головами подушек, крепко уснули. И вскоре ветхая камышовая хибарка уже сотрясалась от их могучего храпа. За стеной бесновался ветер. Рядом рокотало море. Камышовая лачуга с обвалившейся штукатуркой продувалась со всех сторон. Рыбаки легли, прижимаясь друг к другу, и сразу затихли, съезжившись под одеялами. Лишь ты долго не мог согреться. Придвинулся к соседу и влез под его одеяло. Сосед твой, крупный детина с волосатой грудью, был известным борцом, каждый год на октябрьские праздники завоевывавшим главный приз. Он мигом почувствовал тепло человека и, сонно простонав, повернулся в твою сторону. Парень как раз женился перед самой поездкой в устье Сырдарьи, и, небось, примерещилась ему во сне молодая супруга. Сладко причмокнув, сглотнул слюну, скрипнул зубами и закинул на тебя тяжелую волосатую ногу. Тебе ничего не оставалось, как тут же соскочить с постели и выйти вон из лачуги.

Предзимняя стужа, лютовавшая днем, теперь совсем вошла в силу. Ты метнулся за домик, хоронясь от ветра. Идти обратно не хотелось, ибо по другую сторону от твоего могучего соседа была постель Упрямого Кошена. Перед сном вы опять не поладили со вздорным стариком. Ты знал, что главное в вашем деле – первые два дня ледостава, когда рыба косяками шла под молодой лед. И ты, чтобы наутро не мешкая, без лишней возни спозаранок отправиться на подледный лов, распорядился после ужина погрузить сети в машину. Кошен, который только что прилег, резко поднял голову:

- Эй, баскарма, ты хоть ночью дай нам покоя.
- Кошке, самим же утром будет удобно.
- Хрен я положил на твои удобства.
- Кошке, да поймите же...
- Не понимаю. И понимать не хочу!
- Поймите, Кошке, завтра нам предстоит попытать счастья.
- Счастье? Да нам на роду написано одно несчастье.

Ты смолчал, не находя слов, чтобы ответить ему. И в это время из дальнего угла сумрачной лачуги раздался спокойный голос Рыжего Ивана:

- Эй, Кошен, за нас эту работу никто не сделает. Давай вставай!
- Что? Вставай? А я не встану. Буду лежать. Ну-ка, попробуй поднять.

Кошен укрылся одеялом с головой. Тебя взбесило упрямство вздорного старика.

– Эй, джигиты, вставайте! Сами, без него как-нибудь.

– Как без меня? – И тут старик вдруг вскинулся как ошпаренный. – Я что, по твоей воле лежать, по твоей воле вставать должен?

– Аксакал, сами же заявили: «Не встану!», вот я и сказал: лежите!..

– А мне расхотелось лежать.

Кошен вскочил. Пнул раз-другой одеяло ногой. Ворча и тряся бородой, оделся и обулся раньше всех. Раньше всех выскочил из хибары и с ходу, как одержимый, принялся за дело. Рыбаки, давясь от смеха, предпочитали помалкивать...

Ты решил сходить на Сырдарью. Ступая на ощупь по степному бездорожью, огляделся вокруг. Луна, народившаяся в вечерних сумерках, закатилась недавно, когда вы только кончили грузить в машину снасти. Ты шел, всю дорогу озираясь по сторонам в непроглядной тьме, и не заметил, как добрался до реки. Остановился прямо над крутым обрывом берега и, нагнувшись, глянул себе под ноги. Вначале ничего не разглядел. Лишь когда глаза привыкли к темноте, тебе почудилось, что где-то там, внизу, распластавшись по земле, проползает некая гигантская змея.

Река, которую в последние годы псы переходили вброд, нынче, слава Богу, была хороша. В начале лета с гор сошло много воды. После уборки хлопка и риса напор в реке резко усилился. Выходя из берегов, особенно близ устья, река, как в половодье, хлынула первым делом к противоположному плоскому берегу и в считанные дни наполнила засохшие уж столько лет назад озера. Вместе с потоком воды на озеро вынесло несметное число рыбы. А рыба в замкнутой, как эти озера, воде всё равно что отара в загоне. Кто первым доберется до озер, тот и наловит вдоволь.

Весть о рыбе мигом облетела всё Приаралье. Одними из первых приехали рыбаки колхоза «Раим». Председатель «Раима» был молодым и энергичным. Ты знал его: лупоглазый, сверх меры прыткий, пробивной. На любом совещании непременно первым просил слова. Выступить рвался точно призовой скакун к финишу. Стоило ему показаться на трибуне, зал мгновенно замирал. Однажды на таком совещании кто-то из сидящих рядом с тобой толкнул тебя в бок и с явным удовольствием кивнул в сторону без удержу тараторившего раимовского председателя: «Ох и боек! Ох и прыток! Камень расплавит. Далеко пойдет!» Ты соглашался: такой не хуже любого скалолаза возьмет не одну высоту.

При встрече раимовский председатель обычно первым бросался к тебе и учтиво здоровался. На этот раз сторонился. Явно избегал тебя. Видно, не дает покоя рыба на той стороне. Всё поглядывал на тот берег, в нетерпении то и дело выходил на лед... Кошен был от него в восторге: «Вот увидите, пока мы топчемся на месте, как брюхатые бабы, раимовский Растопи-камень в два счета обведет нас вокруг пальца». Слова старика подстегнули тебя, и ты тоже чаще стал навеваться на берег. Обычно пресная вода замерзает скорее, чем морская. Молодой лед уже вполне выдерживал человека. А к нынешнему вечеру мороз явно заматерел, так что можно было ждать, что за ночь ледок окрепнет, нарастет в толщину, и тогда...

Неожиданно раздался раскатистый звук, напоминающий выстрел. Должно быть, треснул где-то лед. Вот так обычно он стреляет, оседая под прибывающей собственной тяжестью. Ты замер, прислушался, вглядываясь в ночную тьму, но треск не повторился. И тогда ты осторожно ступил на лед, пошел смелее и уже на порядочном расстоянии от берега приостановился. Раз-другой с силой топнул ногою. Вот это да! Лед, точно дубовая доска, гудел под сапогом. Ночной мороз

между тем пробирал до костей. Особенно щеки драло, как наждаком. Ты сунул рукавицы под мышку и крепко растер жесткими ладонями лицо. Щеки разгорелись. Однако усталость сморила тебя. Вернулся в стан. От храпа крепко спящих рыбаков вновь сотрясались стены камышовой хижины. И едва ты забрался в постель, как борец, который всегда отхватывал главный приз на октябрьских праздниках, оборвал храп, и не успел ты опомниться, как он вновь крепко обнял тебя и закинул на тебя ногу. «Что с ним поделаешь, с этим чертом!» И ты, сбросив ногу беспокойного соседа, отодвинулся к Кошену, а тот и во сне не мог унять свой нрав, скрипел зубами, мекал, словно бодливый козел. «Попробуй тут уснуть», – обреченно подумал ты.

И до этого всегда недосыпал, ложась поздно, поднимаясь рано. Теперь, мучаясь бессонницей, ворочаясь в постели, вдруг вспомнил Бакизат. Тебе стало тоскливо, когда подумал о том, что снова ты провинился перед ней, не сдержав слово. На этот раз вряд ли она простит тебя... С самого начала незадававшаяся совместная жизнь бог весть чем завершится. И кто виноват в этом? Ты? Твой собачий характер? Или, если брак заключен без высшего на то соизволения, то бишь без обоюдной любви, супружеская жизнь в конечном счете идет к черту? Кто знает, может быть, так оно и есть. Осознай ты раньше, может, всё было бы иначе? Но в ту пору разве ты мог думать о чем-либо, кроме счастья, выпавшего вдруг на твою долю. Ты жил и дышал лишь Бакизат. Все твои помыслы были направлены только на то, чтобы угодить ей, упредить её желания.

Разве удавалось тебе когда-либо угодить какой-нибудь женщине? Даже в студенческие годы – всякий раз, когда ты порывался подать пальто девушкам или открыть перед ними дверь, тебя всегда опережал Азим или кто-то другой, более расторопный. И ты, краснея и смущаясь, кляня в душе свою неуклюжесть, поспешно отступал назад, оставаясь в тени более ловких и обходительных. Поскольку ты был неуклюж и неловок и сам в глубине души знал об этом, то, надо сказать, в первые годы женитьбы из кожи вон лез, пытаешься перенять манеры галантного и предупредительного Азима в обхождении с женщинами; но из этого у тебя ничего не вышло. Особенно однажды... Смех и грех! Апырай, если не запомнил, то было в первый год твоей женитьбы... Или, постой-ка... Словом, была осень. Снег еще не выпал, но уже стояли холода. Ты, чтобы встретить возвращавшуюся с курорта Бакизат, прикатил на своей развалюхе в Аральск. В студенческие годы не раз видел, как Азим при каждом удобном случае подносил Бакизат цветы. И тогда она, довольная оказанным вниманием, прижимала букет к груди, вдыхала аромат каждого по отдельности цветочка и искоса бросала на Азима ласковые взгляды своих улыбчивых черных глаз...

В тот день и тебе захотелось встретить Бакизат с цветами. И на своей развалюхе ты объездил много узких, кривых улочек Аральска, по которым бесновался ветер, гоня сухой песок, да всё без толку... На этой клятой земле не то чтобы в осеннюю стужу, но и летом не росли не только цветы, но и никакая зелень, кроме белены да кустиков «собачьей мочи». Потеряв всякую надежду, ты вспомнил знакомого врача, у которого был однажды в гостях вместе с Бакизат. У него-то в прихожей ты и видел в маленьком черепичном горшке зеленое растение, на котором весной, в год раз, распускались какие-то мелкие, как мышьиные ушки, красные цветочки. Ты, смущенно пряча глаза, выпросил у супруги знакомого врача этот горшок. И возрадовался!..

Вот и поезд подошел. Вместе с толпой встречающих ты тоже ринулся к вагону в середине состава. Расталкивая других, подобрался к тамбуру. Рядом с тобой шофер. В руке у тебя горшочек. Под порывистым холодным ветром трепетали зеленые листочки. Казалось, еще немного, и лютый ветер вырвет растение с кор-

нем. Ты не на шутку испугался и, прижимая горшок к груди, всё отворачивался от ветра. Ты недоумевал, почему все вокруг смотрят на тебя удивленно. Некоторые усмехались и поспешно отводили глаза. Но ты их словно не замечал. Пассажиры стали выходить из вагона. Ты нетерпеливо вытягивал шею, не видя среди них той, кого ждал. И вдруг... Вот и она!.. Опережая её, сначала из тамбура высунулся знакомый тебе желтый кожаный чемодан. Не успел ты и глазом моргнуть, как появилась, сияя белозубой улыбкой, и она сама.

Жена вышла из вагона оживленная. Её улыбочивые черные глаза, искрившиеся в ту минуту неподдельной радостью, взглянули на тебя и тут же окаменели. Тебе показалось, в глазах её даже мелькнул испуг. Ты был настолько возбужден и счастлив, что ни о чем больше не думал, кроме жены, и потому, продолжая улыбаться, бросился навстречу к ней. Суется, волнуясь, хотел было взять из её рук чемодан и чуть не уронил горшочек, оттого еще больше растерялся, так, что не знал, то ли взять чемодан, то ли подать ей горшочек с трепещущими на ветру листочками. И, будто спрашивая совета, как тебе поступить, растерянно озирался по сторонам. Но люди почему-то отводили глаза, и тогда ты, робко глядя на жену, протянул ей горшочек:

– Вот... Бери! Бери, это тебе...

– Что?..

– Цветы. Для тебя...

– Да ты в своем уме?

Ты остолбенел. Глянул на горшочек в своих руках и ужаснулся сам. Откуда быть уходу за цветами в казахском доме? Запыленные, изъеденные червем листочки сникли на холодном ветру. Сгорая от стыда, стремясь как можно быстрее избавиться от горшочка, ты стал искать глазами шофера, но тот, проклятый, был уже далеко, шел рядом с Бакизат, с её чемоданом. Ты теперь боялся, как бы на этом многолюдии не повстречался кто-либо из знакомых. Всё еще не знал, куда деть свой злополучный горшок. Тебя вдруг осенила неожиданная мысль. На привокзальной площади станции Аральск с каких еще времен стоял бюст великого вождя, не на высоком, а вровень с ростом октябренька постаменте. Ты обрадовался и, улучив момент, пока, как тебе казалось, никто не заметил, подбежал к бюсту из серого гипса, оглянулся по сторонам, быстро поставил горшочек под бюст вождя и облегченно вздохнул. Торопливо направился прочь. И, отойдя немного, обернулся. Бедные зеленые листочки в глиняном горшке зябко трепетали на ветру. А на лысине и на плечах великого вождя не было места, не загаженного птицами.

\* \* \*

Ты внезапно проснулся. Подняв голову с подушки, в непонятном страхе заозирался, не соображая еще толком, где находишься. Сонными глазами оглядел лачугу. Казалось, что прилег всего минуту назад. Вернулся в полночь с берега Сырдарьи и, скинув лишь сапоги, прямо в верхней одежде залез под одеяло. Пальцы ног были как ледышки, и ты, подтянув колени, постепенно согреваясь, провалился в сон.

И теперь, проснувшись, как бы насильно вытянув себя из сна, не представлял, сколько же прошло времени. Лишь заметил, что керосиновая лампа у входа уже чадила, угасая... Ты, всё еще не придя в себя, старался вспомнить, что же это такое страшное было там, во сне? Да, кажется... кажется, кто-то из рыбаков ворвался в лачугу и заорал ошалело: «Ойбай, беда-а! Вы тут дрыхнете, а Сивый Вол выхлестал всё озеро...» И, припав на корточки у порога, со стоном стал бить себя по голове, качаясь, рыдая, как по покойнику... Всё представилось настолько отчетливо, что теперь ты никак не мог сказать себе, во сне это было или наяву.

Да, черный вестник ворвался с воплями. Был ли еще кто-нибудь рядом? В смутной душе еще не угас тот страх, не сошел озноб ужаса, которым ты был охвачен, когда услышал жуткую весть. Помнится, во сне рыбаки гурьбой бросились к выходу. Вместе с ними и ты порывался вскочить, чтобы посмотреть на чудовищную скотину – водохлаба Кок-Огуза. Ты тщетно пытался встать, но лишь беспомощно дергался, не имея сил приподняться, весь налитый непонятной, свинцовой тяжестью. И еще вроде хотел кому-то что-то сказать, крикнуть, но некая зыбкая неясность сбивала тебя, и почему-то у тебя пропал голос. И ты, беспомощно распластанный на постели, потерянно и тревожно озирался по сторонам.

Черный вестник, на коленях рыдавший у порога, вдруг вскочил, вскрикнул и захохотал в сумасшедшей радости, захлопал себя бешено по ляжкам: «Обману-у-л!.. Ох, и надул я вас всех... будете помнить меня!» – и пустился в безумный пляс...

Тут и проснулся ты в страхе. О, долго еще не отпускал тебя цепкий страх. И хотя ты сразу и во всей ясности осознал, что пережитое мгновение было не явью, а всего лишь сном, тебя не покидала, всё колотила дрожь. Неведомо почему, тебе в последнее время стал часто сниться ненасытный водохлаб Кок-Огуз, о котором ты слышал в детстве от стариков, выпивший до дна всё Аральское море, безобразно раздувшийся, огромный. Едва вмещаясь меж небом и землей, он, по-воловы вразвалку, тяжело отдуваясь и постанывая, двинулся к перевалу и удалился в степь. В одно мгновение лишившись моря, единственного кормильца, люди, обезумев, в панике бежали следом, воя, рыдая в голос. И ты проснулся, тоже рыдая в голос...

А теперь, очнувшись, старался успокоиться, отмахнуться, мало ли что могло присниться. Но тщетно. Всё еще стоял в глазах черный вестник. Ты старался вспомнить его лицо... И, напрягая память, видел что-то мохнорылое, густо заросшее щетиной.

Ты стал вглядываться в лица рыбаков, пытаясь отыскать среди них кого-то похожего. Взгляд твой то и дело задерживался на лице шофера. Но у того, мохнорылого из кошмара, в уголке губ не было дымящейся папиросы. А этот занят тем, что подтягивает свои вечно спадающие штаны. Вот он по привычке нахлобучил на глаза козырек измятой кепки и устремился к выходу. Перешагнув порог, тут же обернулся к рыбакам:

– Вот те на!.. Всё, братцы! Проспали!

Тебя как ветром вынесло из лачуги. И в самом деле – уже рассвело, и начинался новый день.

– Да, проспали, – уныло произнес кто-то.

– Теперь торопись, не торопись – толку мало... Вот увидите, все, кроме нас, перебрались на тот берег, – подхватил другой.

– Раимовский Растопи-камень небось уже всю черпает рыбу!

– Давай заводи машину! – приказал ты.

– М-ма-мент!

Непостижимо, но мотор завелся сразу. Рыбаки, наспех одеваясь, бросились наружу. Ты отводил от них глаза. Всё это казалось тебе продолжением дурного сна.

– Эй! Эй, где председатель? Всю ночь спать не давал...

И так на душе кошки скребут, а тут еще этот старикашка...

– Поехали! – выдал ты с трудом.

– Куда теперь торопиться? – хмыкнул Кошен. – Чужой добыче радоваться?

Остатки подбирать?.. Обьедками чужими лакомиться?

– Жми давай! – заорал ты.

– М-ма-мент!

Развалюха, громыхая, катила по бездорожью. Шофер молчал. Ты тоже не раскрывал рта. Как ни старался – не мог забыть недавний сон. Не дурное ли это

предзнаменование, когда ты как раз настроился на большую удачу? И вспомнил тещу, недобро усмехнулся. Иногда тебе казалось, что старая карга обладает даром ясновидения. Иначе как понимать это... Казалось бы, предназначенную тебе судьбой долю кто-то порасторопней да поудачливей постоянно уводит из-под носа. Выходит, права теща. Да, права: «Вечный ты неудачник! Из-за своего собачьего характера теряешь то, что само катится в руки». Вот и теперь... Всю ночь промаялся. Всю душу себе и другим измотал, тешил себя надеждой и в решительный момент проспал ледостав.

Рыбаки, которые, трясаясь в кузове, всю дорогу молчали, вдруг всполошились, загалдели:

– Братцы! Смотрите! Раимовцы еще здесь.

– Вот те на! Эй, почему так? Почему они на тот берег не перебрались?

– Видно, лед еще слабый. Иначе кто-кто, а Растопи-камень давно уже был бы там.

В тот день многолюден был берег Сырдарьи, всюду стояли машины, груженные снастями. Впереди всех, наехав передними колесами на лед, синели капотами два грузовика колхоза «Раим».

– Здравствуйте, Жадигер-ага!

Ты сдержанно кивнул Растопи-камню и прошел мимо. Над противоположным берегом реки стояло еще низкое, по-зимнему тусклое солнце. Река, затянута во всю светлую ширь стеклистым льдом, застыла неподвижно, разделив мир на тот берег и на этот. Утренние лучи, играя бликами, вспыхивали то там, то тут по всему молодому льду, слепя глаза. Ты, не отрывая взгляда от другого берега, ступил на лед. Рыбаки, которые стояли на берегу, толкуя о том о сем, мгновенно притихли. Ты старался не смотреть на них, но спиной чувствовал их испытующие взгляды, отчего у тебя внутри что-то поневоле сжималось.

Напряженное возбуждение всё не отпускало тебя. Сделал еще несколько шагов и остановился, толком не зная, что будет дальше. С этой минуты каждым твоим шагом, каждым твоим поступком управлял кто-то извне. И этот кто-то неведомый властно диктовал тебе свою волю. Но пока что и тот, как и ты сам, пребывал в нерешительности, не зная, идти ли вперед или вернуться назад. И тут над самым ухом раздался трескучий напористый голос Растопи-камня:

– Я же говорю, лед слаб. Человека выдержит, а машину нет. Боязно все-таки.

– Боязно, значит?

– Да, вода – враг коварный. Подо льдом подпорок нет.

– Подпорок, говоришь, нет?

– Ясное дело, нет. А вы что, по-другому думаете?

– Как мы думаем?.. Эй, парень, дай-ка пешню!

– Ма-мент, басаке!

– Вы что, мне не верите?! До вашего подхода мы тоже пешнями прощупали. Не тот... не тот лед!

Ты принял из рук шофера увесистый лом и решительно пошел вперед. Дойдя до середины реки, высоко размахнувшись, с силой швырнул пешню острием в лед. Брызнули во все стороны ледяные осколки. Однако, не пробив лед насквозь, лом застрял, а из-под острия проступила вода.

– Ну что, убедились? Лед ненадежен. Может, за ночь окрепнет. А сегодня с груженой машиной тут делать нечего.

Ты сам видел: лед ненадежен. Рановато. Верно, подпорок под ним нет. Верно и то, что вода – враг коварный... Всё это ты знал, но вопреки здравому смыслу ты еще медлил, ждал с оглядкой на кого-то постороннего, который сегодня навязывает тебе свою волю, подталкивая то ли к счастью, то ли к беде. Не находя в душе



согласия, ты еще противился чужой напористой воле. И, не отрывая тревожного взгляда от пешни, вонзившейся в лед, колебался, не зная, чью сторону принять.

Ты знал: во все времена любили рыбаки молодой ледок, восхищались его гибкой упругостью, тем, как он гнется, постанывает под тяжестью, но не ломается. Должно быть, за это и прозвали его «льдом-джигитом», или еще «молодец-ким». Кто, однако, точно знает, как поведет себя этот молодой-удалой ледок-крепыш, когда его всерьез захочет испытать какой-нибудь отчаянный смельчак?

– Жадигер-ага, мы уходим, – заявил Растопи-камень.

– Ну, бывай!

– На тот берег переправимся завтра. А сегодня вы тоже вернитесь в стан и отдыхайте!

Ты был рад, что он уходит, но на душе беспокойно. По-прежнему не находя согласия с тем посторонним, навязывающим тебе свою волю, всё еще колеблясь, раздваиваясь, воротился ты к рыбакам, ожидавшим тебя на берегу.

– Ну, каков лед? – спросил Рыжий Иван.

– Лед-лед...

– Что решил?

Ты, продолжая в душе спорить с тем, посторонним, покатывал носком сапога прибрежную гальку.

– Вы как хотите, а я пошел. Разве чего-нибудь от него дождешься?..

Ты прежде побаивался злого языка вздорного старикашки. А теперь, как ни странно, пропустив его слова мимо ушей, напряженно внимал тому, как где-то в глубине души твоей, неудержимо разрастаясь, набирала силу какая-то необузданная, упрямая и дикая решимость.

– Что, так и будем стоять? – крикнул кто-то.

– Да, надо уходить. Растопи-камень не дурак. Он смекнул, в чем дело. Лед слабый. Айда, поехали назад!

– Нет, джигиты, – глухо, неожиданно вырвалось у тебя, – рискнем!

– Это как понять? – прогудел Рыжий Иван.

– А так... По льду – и на тот берег.

– Ойбай, не надо...

Но ты уже не слышал ни его, ни других, лишь кивнул четверым рыбакам, которые стояли рядом с тобой. Ты всегда в душе был благодарен им за то, что они понимали тебя по жесту, по выражению лица, без лишних расспросов. И на этот раз все четверо, как и ты, молча засучили рукава. Потом поплевали на ладони. Потом дружно и молча сбросили с машины одну за другой две длинные, толстые лесины. Потом, спрыгнув с кузова, по-прежнему молча проделали их под машиной поперек рамы. Одну спереди. Другую сзади. И прикрутили их как можно туже арканами. Расчет был простой: не выдержит лед, проломится, и тогда концы этих длинных лесин, выступающие по обе стороны метра на два, лягут на лед, удерживая машину на весу.

– Давай, поехали!

– Что ты, лед не выдержит. Ухнем в воду!

– Кто сказал?

– Все говорят. И раимовский тоже...

– Садись, я с тобой. Если под лед – то вместе.

В другое время шофер не замедлил бы отозваться своим неизменным «момент». На этот раз он попятился назад.

– Ладно. Давай ключ!

Шофер, как бы прося помощи, оглянулся по сторонам. Потом уперся взглядом в Кошена, но тот отчего-то в этот раз смолчал.

– Ключ! Ну, кому говорят! – рявкнул ты. Казалось, еще мгновение, и широкая ладонь с растопыренными пальцами схватит за глотку шофера. Ты, не дав ему опомниться, вырвал из его рук ключ зажигания, и... и потом... остальное пошло так, словно кто-то другой, а не ты всё это делал; будто та необузданная сила, проснувшаяся в душе, неподвластная тебе самому, как вихрь, вырвалась на волю и распоряжалась теперь как хотела, никого не спрашивая и никому не давая опомниться. В мгновение ока ты очутился в кабине. Мотор взревел. Грузовик дрогнул. Дернулся. И, натужно воя, медленно съехал на лед. Рыбаки замерли, пораженные неумной стремительностью твоих действий. Лишь тогда, когда медленно тронувшаяся с места машина всеми четырьмя колесами выкатилась на лед, они, опомнясь, обрели дар речи:

– Что он делает, эй! Смерти ищет, что ли?

– Эй! Эй, стой!

– С ума сошел? Вернись!

Рыбаки бросились вслед. Крик, вопли слились с гулким топотом сапог по льду. И сквозь этот гул и топот прорвался вдруг молодой, трескучий, разъяренный голос:

– Он что, спятил?! Утонет, дурак. Госимущество угробит!.. Остановите его-о!.. Остановите!

Грузовик с трудом преодолевал покрытый торосами лед. Яростный крик раимовца вдруг оборвался, будто ножом отсеченный. Не успел ты обрадоваться, что так быстро избавился от него, как тот же трескучий голос раздался вдруг над самым ухом:

– Вернись! Вернись, кому говорят! Себя, госимущество угробишь!

Ты захлопнул дверцу кабины. Раимовский снова догнал. Подскакивал то слева, то справа, что-то крича и в бессилии грозя обоими кулаками, стучал по капоту машины... Ты же знал, что ни о госимуществе, ни о твоей шкуре он не беспокоится. И отчего-то вдруг стало злобно-весело на душе. Ты рассмеялся было, но в это время тот, обогнав-таки машину, неожиданно встал перед ней, растопырив руки:

– Не пущу! Только через мой труп!

И в самом деле, весь его безумный, отчаянный вид вопил об этом. Ты поначалу даже опешил, растерялся, но тут же опомнился и взъярился:

– У-у, мать твою... – сквозь зубы выругался ты. – Хочешь подохнуть – так подыхай, раз-з-давлю как собаку!

Не помня себя, с остервенением нажал на газ. И старый грузовик взревел, рванулся вперед, будто расвирепевший бодливый бык...

С тех пор минула всего какая-нибудь неделя, но сколько событий успело произойти за это время! Сегодня ты, как подраненная птица, у которой разорили гнездо, не находя места в своем доме, ушел куда глаза глядят. И вот с утра томишься один-одинешенек на льдине перед аулом и до мелочей припоминаешь тот отчаянный свой бросок. Вспоминаешь и сам удивляешься: как это тебя, по природе тяжелого на подъем, подвигло решиться на такое? Что это, отчаяние? Или просто-напросто безумие, когда человек не ведает сам, что творит? Как бы там ни было, но в тот яростный миг тебя не могла удержать никакая на свете сила. Помнится, темная кровь ударила в голову. В ту минуту ты и на самом деле мог бы задавить раимовского Растопи-камня. На мгновение показалось, что тот уже под колесами. Но в последний момент он всё же успел сигануть в сторону.

– Эй!.. Да он пьян! Вдрызг пьян! – донеслось уже сзади. И еще что-то сказал про госимущество...

Дальше ты ничего не слышал. Только успел заметить, как тот, отскакивая, споткнулся и распластался на льду. Но и упав, продолжал еще что-то выкрики-

вать. Откуда-то подоспел Кошен. С развевающимися полами заскорузлой шубы, неуклюжей старческой трусцой семенил он сбоку кабины. Но споткнулся, упал и снова вскочил, побежал, хрипло прокричал что-то, видно, задохнувшись, и тотчас отстал. Его обгоняли, подбегали другие рыбаки, кричали наперебой: «Назад!», «Куда ты?!», «Подумай о себе!», «Черт с ней, с рыбой!» Кто-то растрепанный, запыхавшийся прыгнул на подножку кабины и рванул на себя дверцу. Ты даже не глянул на него. Он с ходу, оттесняя тебя плечом, вцепился было в баранку, что особенно взбесило тебя. Ты с силою ударил его в грудь. Всё произошло в мгновение ока. И вот спустя неделю стоишь с утра один-одинешенек на ледяном поле своей судьбы и, перебирая в памяти события того дня во всех подробностях, припоминаешь теперь, что у шофера слетела с головы измятая кепка. И он, разжав пальцы, сорвался с подножки и выпал на лед. Рыбаки, что с гулким топотом кованых сапог бежали следом за машиной, застыли на месте, остались позади...

И это ты помнишь. Машина шла тяжело и медленно, трясясь и переваливаясь, то и дело ударяясь о лед концами подвязанных к раме лесин. Всё это время прибрежные ледяные наросты подкидывали то одно, то другое колесо, тормозя, замедляя ход машины. Ты не сразу заметил, как кончились эти ледяные наросты, злившие тебя, и передние колеса коснулись гладкого, как зеркало, льда. Машина пошла легко, заносясь задом, словно лодка, спущенная на воду. Но через мгновение руль снова стал послушным, не вырывался из рук. Первое напряжение исчезло, и ты облегченно перевел дыхание, выпрямился, утер пот со лба и глянул вперед, поверх капота. Увидел иной берег, такой еще далекий, желанный. И увидел торосы и жидкий камыш у того берега.

А когда снова перевел взгляд на лед перед машиной, то вздрогнул. Тебе стало вдруг страшно и жутко при виде таившей мрачную бездну угрюмой черноты под нагим поблескивающим льдом. В этом месте река была особенно глубока. Ты торопливо отвел взгляд. И, хотя после этого больше не смотрел на лед, подспудный страх так и не отпустил тебя. Внезапно нажал на газ, ибо ногу вдруг пробрала дрожь. Машина, завывая мотором, заюзила по льду. Ты быстро сбросил газ. То место, где из-под острия пешни проступала вода, было еще впереди. Ты это знал. Как ни старался держать себя в руках, собрав всю волю, темный страх и сомнение безвестности захватили тебя. И ты замирал в безумной тревоге. То ли машина становится тяжелее, то ли лед слабеет. Лишь с ужасом прислушивался к ясно уловимому потрескиванию, что катилось, пощелкивая, впереди машины, будто зловещее предупреждение, что лед не выдержит, вот-вот проломится.

Ты на всякий случай приоткрыл дверцу, подвинулся на краешек сиденья и выставил одну ногу наружу – это ты помнишь. Как ты и опасался, когда машина достигла глубокой стремнины русла, лед под колесами стал прогибаться, постреливать. И словно наполнилась кабина холодным ужасом. Это ты также помнишь.

Но в те минуты ты не осознал только одного – что губы твои шептали молитву. Не знал и того, здесь ли, на стрежне реки, суждено тебе завершить свою земную жизнь или нет. Если Всевышнему угодно прервать твоё дыхание сейчас, и не где-нибудь, а в этом месте, ну что ж, на то Его воля. Остается лишь одно – довериться судьбе и, не думая ни о чем, устремиться вперед.

Кажется, и старая машина почувствовала опасность. Она скользила неуверенно, робко, будто наощупь. С каждым новым зловещим скрежетом льда страх, казалось, всё глубже проникал в её железную душу, и все болты, железки, все сочленения в её изработавшемся нутре тихо дребезжали, тревожно позвякивая. Человек и машина слились в едином чутком ожидании, когда раздастся тот роковой оглушительный треск и, ухнув, разверзнется под ними то, что казалось

твердью. Только что ты шептал молитву про себя, а теперь руки твои, сжимавшие баранку, мелко задрожали, и голос помимо твоей воли исторгся громко: «О, Алла!» – сказал ты. «Ляиллахи иль Алла!» – сказал ты. – Пожалей детишек, женщин и нас самих, несчастных!.. Мы же дети Твои... Смилуйся, сжался!» – сказал ты. Сказать-то сказал. Взмолился-то взмолился, но сам в тот миг не осознавал того, что говорил. Ощущая себя на краю гибели, как любой смертный в минуту опасности, ты тоже снова и снова обращался к Создателю, Творцу земли, небес, воды, всего подлунного мира... Направил свою страстную мольбу Великому Тенгри и, не договорив, вдруг умолк. Эй... Эй, что такое?! Остановился, что ли? Мотор вроде только что завывал в покорном усердии, а теперь... теперь неужто заглох, захлебнулся в собственном вое? Ты прислушался. Сквозь треск и скрип льда отчетливо услышал глухие удары своего сердца. И тогда в отчаянье нажал на газ. Мотор взревел. Приотпустил педаль. Нет, старушка еще жива, еще борется, ползет... ползет... ползет, бедная.

Больше половины пути вроде осталось позади. И то место, где ты пешней опробовал лед, давно проехал, не заметив. Пот заливал глаза. Ты хотел протереть их, но вцепившиеся в руль пальцы не разжимались, онемели в этом долгом напряжении. И всё твоё тело будто одеревенело. Ты застыл неподвижно, боялся даже дышать в полную грудь, будто это могло стать лишней тяжестью. Неужто была всё-таки лишняя тяжесть? Да, наверное... да, там, под машиной, что-то треснуло... Ты замер. Ногу, которой давил на газ, будто судорогой свело, взгляд блуждал по сплошному пространству льда. Каждая жилочка во всем теле напряглась, натянулась до звона, а в ушах скрежетал, звенел всё разрастающийся над рекой стон потревоженного льда, будто кто-то там вдребезги бил и крошил стекла... Ты знал, что зловещий треск вот-вот повторится. Что ж, пусть! И пусть повторится. Пусть всё провалится к черту! Чем в страхе ждать с минуты на минуту свою неизбежную гибель, не лучше ли прямо сейчас кануть в омут небытия...

Коли тебе суждено погибнуть именно сейчас, на этом месте, для чего тогда стремиться на тот берег? Пусть до конца уж восторжествует злой рок, преследующий тебя неотступно. Если уж смерть в самом деле позарилась на твою жизнь, то только пускай не тянет, не откладывает на потом, а сейчас, сию же минуту, не мешкая, на этом же месте обрушит на тебя свое темное небо. Поделом тебе! И так твоя жизнь стала подобна лоскутку овчинки, изодранной псами. Хватит! Хватит! Эта жизнь, куцая, как козий хвост, промелькнет и исчезнет, как только ты вместе с этим проклятым рыдваном ухнешь в ледяную пучину. Ну, вот!.. Раздался наконец громовой треск. И тут одновременно с треском и грохотом обломившегося льда там, под машиной, послышался сильный всплеск воды. Машина, как норовистая лошадь, взбрыкнула задними колесами. И сам ты вместе с взбрыкнувшей машиной стал падать вперед, наваливаясь грудью на руль. Руль вырвался из рук. Сейчас врежешься лбом в стекло. Ты успел поймать руль, вцепился в него, крутанул, одновременно нажимая на газ. Машина взревела. Но не успел опомниться, как тяжесть её переместилась назад, и она, оседая всей своей громоздкой тяжестью, была готова свалиться в пучину. Ты не успел выпрыгнуть из кабины. И тут вдруг оттуда, из этой пучины, вынырнуло что-то огромное и с могучей силою, гулко ударило меж двух задних колес. Ты не знал тогда, что это был громадный обломок льда. А то, что она, эта льдина, спасла твою жизнь, понял только потом, когда выбрался на тот берег...

Но пока машина всё еще была неуправляемой. Зад её занесло, она заюзила куда-то вбок, всё продолжая цепляться, упираться, поочередно ударяясь то правыми, то левыми концами лесин по льду. Каким-то чудом еще двигалась вперед, одолевая ледяные наросты.

Вот опять шибануло, подкинуло, и ты, насмерть вцепившийся обеими руками в руль, в мгновение, наполненное ужасом, заметил, что руль вдруг наваливается на тебя, а ты каким-то образом очутился внизу, почти под ним. Ты сообразить не успел, что же могло случиться, как последовал удар... еще удар, сотрясший кабину; в глазах всё смешалось, завертелось, словно в вихре. А потом... сколько бы ты ни силился вспомнить, что было потом... представить не мог. Лишь какие-то обрывки лихорадочных видений наплывали и вспыхивали в сознании.

Скрипел, трещал, обламывался и крошился вокруг лед. Моталась на ледяных застругах и наростах, заваливаясь из стороны на сторону, машина. Всё еще зловеще плескалось под колесами. Резко брякали дверцы клонившейся попеременно то на один, то на другой бок кабины. И тебя трясло и швыряло так, что до сих пор удивляешься, как не вылетел тогда из нее.

Машину мотало враскачку. И с обвальным грохотом швыряло по её кузову снасть. Вот-вот, казалось, опрокинет грузовичок, но он, воя, рыча мотором, всё еще тащился, где скользят вбок, а где вперевалку, встряску, рывками, по каким-то мерзлым кочкам, чудом выползая из настигавшего адского скрежета льда.

Непостижимым казались упорство, стойкость старой развалюхи, никак вроде бы не присущие её железнному роду... И уже вроде не ты, а она сама выбирала вслепую, находила себе путь из всей этой безысходности. Ты еще цеплялся за руль и кое-как удерживал на педали газа ногу, которая срывалась то и дело, но ты опять ловил педаль ногой, давил на нее. Ты потерял представление о времени. И тогда стало томить безразличие. И уже стало всё равно, что будет с тобою, с машиной, со всем миром...

Наперекор всему на высоких оборотах стенал мотор. И, хотя еще бросает тебя по всей кабине всё та же изматывающая душу болтанка, бьет обо все жесткие углы, ты уже слышишь только её, машину. И перекатывающийся грохот снастей в кузове. Видишь совсем уже недалеко спасительный берег. Видишь сухой изреженный камыш и чахлые кусты. И чудится, что это не ты, а они, неприглядные такие и родные, на тонких слабых ножках спешат к тебе навстречу... всё явственней обретают свои извечные очертания берег, земля, её заречные смутные дали. И небо. И оно тоже на своем месте. Безбрежное, безмятежное, как со дня сотворения, раскинулось над головой. И понял ты, что выжил. В отчаянной схватке с жестокосердной судьбой хотя бы раз, но удалось-таки тебе достичь цели. Невелика, может, цель, но получилось... И почему-то всплыл перед глазами раимовский председатель. Как он, бедный, метался, обезумевший, перед твоей машиной. Ты не знал, плакать ли, смеяться... Совладав с собой, поднял замутненный слезою взор, тяжело уставился в небо. И оно, захватанное, словно подол гулящей бабы, тоже будто усмехнулось в ответ. Ты устало закрыл глаза. Блажь, чушь, но как хорошо!.. Минуту назад верная твоя развалюха миновала торосы, почуяла под собой твердь. И тут её неожиданно занесло. И не успел ты уяснить, что же это вдруг выросло на пути... как машина с ходу уткнулась носом в остроконечную серую глыбу льда, взбрыкнула задом и заглохла...

Сколько раз потом, во сне, повторялось это мгновение! И островерхие серые торосы вот так же, будто из-под земли, снова выскакивали на твоём пути. И так же, как наяву, теснило тебе грудь и напрочь перехватывало дыхание. И тогда ты просыпался в страхе и еще успевал услышать, как тяжело стонешь, и стон этот эхом отзывался в тебе. До сих пор он преследует тебя во снах. Ты весь сжимаешься во сне, напрягаясь, ожидая неминуемого удара... И всё так же заливают глаза потом... И каждый раз, еще не совсем очнувшись от кошмара, ты краешком одеяла отирал глаза и пытался вспомнить, что же случилось

потом. И, вспоминая, сам поражался: как всё-таки удалось проскочить тогда через те роковые, гибельные места. И в который раз уже благодарил небо и тот молодой, недюжинной крепости ледок-джигит.

...Ты устало прикрыл глаза, отдыхая, а откуда-то издали донеслась слабая разноголосица. Прислушался. Звук нарастал, приближался. И уже вскоре ты явно различил топот множества ног, крики... Топот волной докатился до грузовика, уткнувшегося носом в глыбу льда, и оборвался, точно отсеченный. И в этой разом обступившей тебя тишине вновь остро почувствовал ты всё твое безмерное одиночество. Но длилось это всего лишь мгновение: кто-то уже осторожно подходил к кабине. Вслед за ним, шурша по ледяному крошеву, подбирались и другие. Один, вытянув шею, заглядывал в кабину. Второй встал на подножку кабины, наклонился над тобой. И ты почувствовал чье-то теплое дыхание. Тогда неохотно оторвался от руля, на который навалился всей грудью, и откинулся на спинку сиденья.

– Эй! Да он живой! Скорее сюда все!

О, много ли разума в людской радости... Точно ошалев, полезли к кабине со всех сторон. Кто-то склонился над тобой, кто-то отер пот с твоего лица. А этот в свирепой ласке крепко саданул по плечу тяжелой рукою и тут же протянул фляжку с водкой.

Всё это ты воспринимал как-то смутно, точно спросонок, но ясно видел неподдельную радость на загрубелых от мороза и ветра лицах рыбаков. Видел счастливый блеск в их глазах. Потрескавшиеся губы растягивались в улыбке. Ослепительно белые зубы обнажались в смехе.

Гремел хриплый хохот. Вперебой звучали ликующие голоса.

– Айналайн! Азамат наш! Да буду жертвой твоей!..

Донесшийся сзади старческий голос вывел тебя из оцепенения. Толкнув дверцу, ты с усилием выставил сначала одну ногу, потом вторую. Голос старика дрогнул от избытка чувств. Он обхватил твои ноги:

– Опора ты наша! Азамат наш... Кормилец нашего рода... – завелся, чуть не рыдая, старик.

– Кошке... Ну, успокойтесь. Встаньте!

– Встану, родной, встану, ненаглядный!.. Да как это я, недостойный старикашка, на тебя голос-то повышал. Прости, заступник ты наш...

И долго еще не мог успокоиться Кошен, мелко тряслись его узкие плечи под заскорузлым кожаном.

\* \* \*

Старая машина с помятым радиатором мчится по степи. Извилистая дорога, увлекая, вьется-стелется впереди и потом вдруг, точно играя с шофером, нырнет в выгоревшую за лето полынь, пропадет с глаз, и тут же, как бы поддразнивая, обнаружит себя, объявится узкой серой тесьмой по склону очередного перевала – вот где я, мол...

– Жми, дорогой! Газуй! – подзадоривал ты шофера.

– Можно, каанешно... Но видишь ли...

– Ничего не вижу, кроме тебя да вот себя и нашего с тобой аула впереди. Давай, жми, газуй, братишка!

– Можно, ка-анешно... Но разве на такой дороге разгонишься?!

– А ты не гляди на дорогу. Понимаешь, не гляди на нее, просто жми-газуй вовсю!

– Ха, сказал тоже. Драндулетина наша рассыплется! Костей не соберем.

– Ну и Бог с ней. Сам спишу...

Шофер кинул на тебя искоса шельмоватый взгляд – нет, вроде не шутит начальство. Он будто впервые увидел своего председателя, удивленно покачал головой. Который год уже вы работали вместе. Прежде, когда бы ни возвращались домой, проездив неделю ли, месяц, шоферу никогда не приходилось видеть тебя таким, как сейчас, нетерпеливым и возбужденным.

Да, в этот раз ты удивил всех... Что ни говори, а вся рыба в заречных озерах и в старице досталась вам одним. Перебравшись на другой берег, черпали рыбу день и ночь. На третьи сутки вымотались вконец. Насквозь промокшие, продрогшие и голодные, еле держались на ногах. Чтобы где-то поесть и согреться, отыскали заброшенную камышовую лачугу близ озера. Ввалились в нее гурьбой. Ни окон, ни дверей. Шофер присвистнул.

– Слава Богу, хоть такая есть, – сказал Рыжий Иван. – Ну, что стоите? Хватай одеяло, дверь занавешивай! Огонь разводи!

Слова эти, как обычно, адресовались шоферу. Он помоложе других, пошустрее, покладистее, и потому каждый считал себя вправе обходиться с ним как с мальчиком на побегушках. И безотказный шофер никогда не возражал, всегда и на всё отзывался неизменным: «Ма-а-мент!» Но на этот раз и он будто оглох. Люди в эти дни, раззадорясь, работали, забыв об усталости. Даже Кошен на радостях вкалывал наравне со всеми, но теперь, едва ступив через порог лачуги, не в силах удержаться на ногах, повис на плече шофера.

– Эй, что я тебе, баба, что ли? – дернулся тот, но старикашка, цепляясь обеими руками, навалился еще сильнее.

Тогда шофер, выплюнув под ноги дымившийся в уголке рта окурок, озорно подмигнул стоявшим вокруг рыбакам и рывком притянул к себе обессилевшего Кошена, крепко приобнял его.

– Ну что ж, давай, сбцаем в честь богатого улова.

Старик, казалось, ничего не слышал, ничего не понимал, потому недоумевал, чего этот лоботряс ни с того ни с сего принялся таскать его, вихляясь при этом всем телом. Шофер еще раз подмигнул рыбакам.

– А ну, давай-давай! Ас-са! – задорно вскрикивал он и выволок старика на середину круга.

Тот очнулся.

– Эй, ты! Рехнулся, что ли?

– Нет, старина, башка моя в порядке. Надо удачу отметить... Ну, давай покажем класс!

Эх-х, люди! Только что стояли с запавшими щеками, не в силах поднять угрюмых глаз... Посмотри, посмотри-ка, как мгновенно преобразились! Губы растянулись в улыбку. Молодо блеснули глаза. Хриплые глотки исторгли возгласы одобрения. Отбил шофер-бала чечетку, прошелся по кругу, и, будто огнем распалил, раззадорил всех зажигательный танец. И тех, кто умел плясать, и тех, кто в жизни не плясал. И уже сошлись рыбаки в круг и азартно, в такт забухали одеревенелые от мозолей и холода ладони. Кто должен завесить одеялами окна и дверь в этой заброшенной промозглой развалюхе, кому идти собирать хворост и разводить огонь, – сейчас никто об этом не думал. Все отодвинулись к стенке, заколотили в ладоши яростно, гулко, и шофер чертом пошел-пошел, закружился в неистовой пляске, по-прежнему крепко придерживая за пояс старика Кошена.

– Эй!.. Эй!.. Что этот нечестивец делает? Пусти! Пусти, говорят!

Кошен, раскорячив шаткие ноги, попытался было вырваться из цепких лап шофера, но тот силком увлекал его за собой, таскал по всему кругу. Рыбаки умирали со смеху, показывая пальцами на них, радуясь нежданно подвернувшейся потехе, подталкивали друг друга плечами, подзадоривая, выкрикивая сиплыми голосами: «Ас-са! Ас-са! Ай да молодец! Вот дает шофер-бала!»

Кто-то кого-то выталкивал в круг. Меж четырех стен хибары гремел-стонал смех. От множества выкриков стало шумно и тесно. Эхо прокатилось, разносимое ветром по пустынному побережью. Старичок как мог отмахивался, вырывался:

– Ах ты пес. Шайтан! Нашел с кем дурачиться!..

Беспомощные протесты Кошена еще пуще веселили рыбаков. Кто-то затянул песню, и тут все закинули руки друг другу на плечи и, раскачиваясь, не очень слаженно, но истово подхватили знакомый сызмала мотив. И тебя они тоже втянули в свое веселье. Раньше в таких случаях ты обычно стоял в стороне, сдержанно улыбаясь и глядя на всех сразу. А сегодня сам не заметил, как неожиданно для себя стал подпевать. Но стоило дойти до слов: «Будь благословенной вовек мать, родившая тебя», – внезапно изменился в лице и умолк, будто обжег язык. Однако зачарованные проникновенной песней рыбаки не заметили того, как ты, бледный, стиснув зубы, перестал вдруг подпевать.

Шофер был в ударе. Не дождавшись окончания песни, выбрался на середину круга и картинно опустил на колено. В руках у него была маленькая джидовая домбра, которую рыбаки всегда возили с собой на промысел. При виде домбры ты востроился, будто очнувшись ото сна. Странно, что ты до сих пор не заметил её. Дека домбры надтреснута, гриф захватан, измызган рабочими руками рыбаков. Видимо, всяк кому не лень терзал домбру, тренькая на ней. За свою жизнь отец твой смастерил столько вот таких же домбр из неприхотливой джиды! Было время, когда на правобережье Арала чуть ли не в каждом доме одно из самых почетных мест занимала отцовская домбра. Будь домбра не из джиды, а из другого какого-нибудь дерева, она при скитальческом быте рыбаков давно бы пришла в негодность. А у этой, джидовой, то ли просто струны отсырели, свитые из бараньих кишок, а скорее всего, безнадежно расстроили инструмент чьи-то неумелые руки. Некогда звонкая, певучая домбра в руках шофера зазвучала глухо, простуженно.

– Дай-ка сюда!

Шофер посмотрел недоверчиво, будто ослышался. Ты прежде, как и отец твой, ни разу не брал на людях в руки домбру. Но теперь посмотрел на шофера строго и требовательно:

– Дай, говорю!

Шофер, помедлив, всё еще не веря тебе, подал домбру. Ты осторожно дотронулся до струн, тихо отозвавшихся. Слегка поправил нижние лады, подкрутил колки – и, свесив голову на грудь, неожиданно мягко, как-то ласково, прошелся по струнам всеми пальцами руки. Так делал и покойный отец. И маленькая домбра под твоими большими узловатыми пальцами вздрогнула, очнулась, точно обрела голос. Все вокруг притихли. А ты, смущенный тем, что неожиданно обратил на себя внимание, опустил глаза, еще ниже склонил голову и – не хлестал по струнам всей пятерней, а точно оглаживал их кончиками припухлых сильных пальцев. И домбра под ними млела, пела послушно, будто отзываясь твоей грусти легкой и печальной дрожью. И лилась всё дальше светло-грустная, как нескончаемый ручеек, мелодия, задевая своей дрожью сердца, размягчая лица тоской по родному, волнуя и завораживая рыбаков.

*Продолжение в № 12, 2024.*